ВОСПОМИНАНИЯ

о Николае Асееве



ВОСПОМИНАНИЯ о Николае Асееве



ВОСПОМИНАНИЯ о Николае Асееве

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980

8 Р 2
В 77

О крупнейшем советском поэте, большом мастере стиха, учителе многих современных поэтов, рассказывает эта книга. В сборник входят воспоминания Л. Мартынова, В. Шкловского, Н. Ушакова, С. Наровчатова, Б. Слуцкого, Л. Озерова и других. Статьи сборника рассказывают о том, как работал Н. Асеев, о его дружбе с Маяковским, о встречах и поездках, о его помощи молодым поэтам.

Составители
К. М. Асеева и О. Г. Петровская

Художник В. А. РОДЧЕНКО

В $\frac{70302-395}{083(02)-80}$ 14—80. 4702010200

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В 1979 году исполнилось девяносто лет со дня рождения выдающегося русского советского поэта Николая Николаевича Асеева.

Настоящий сборник — первая попытка собрать воспоминания о поэте и тем самым помочь воссоздать его человеческий облик и рассказать о его литературных интересах. А интересы эти были обширны — от фольклора и памятников древней русской письменности, постоянно на протяжении жизни привлекавших поэта, до современной поэзии.



СЕРГЕЙ БОБРОВ

ЗАПИСКИ О ПРОШЛОМ

Кажется, все это относится к 1908 или 1909 году... что-то в этом роде как будто. Был в те времена такой журналист Шебуев, который в 1905 году получил довольно широкую и внезапную известность вполне злободневного характера. Среди ряда эфемерных, то возникавших, то исчезавших полусатирических, полупублицистических журнальчиков того бурного времени его «Пулемет» обратил на себя внимание страшной карикатурой на четвертой странице обертки журнала, где был факсимиле воспроизведен из какой-то царской газеты манифест, дарующий стране «конституционные свободы», а на этом тексте отпечаталась красной краской широкая кровавая пятерня убийцы. Карикатура почти приводила в содрогание, а по смелости своей она превосходила все мыслимое и допустимое в те времена — и во много раз. Выпуск этот шел нарасхват, брался с бою. Журнальчик был немедленно воспрещен и закрыт, а

сам Шебуев попал за решетку, правда ненадолго. Отсидел и выпутался. Никому, в сущности, и в голову не приходило, что эта жуткая пятерня означает что-либо более серьезное, чем несложная журнально-коммерческая операция: задеть «публику» во что бы то ни стало за живое и поднять сбыт; иначе, разумеется, Шебуев так дешево не отделался бы. Потом прошли годы реакции, все понемногу затихло и заглохло.

Постепенно на сцену начали выползать приободрившиеся литераторы разных мастей, устраивавшиеся кто как умел и где умел. И вот в один прекрасный день у московских газетчиков появился широкостраничный двухнедельничек под сентиментальным заглавьицем «Весна». Издателем оказался тот самый Шебуев, который...

Появился еще выпуск «Весны», стихов моих там не было, но зато было большое объявление о том, что в редакции журнала в среду вечером состоится товарищеское совещание, на которое редакция приглашает всех своих «московских сотрудников» — стало быть, и меня.

И вот уж я сижу в огромной редакционной комнате. Хорошая квартира в центре города. Эта комната служила в то же время и кабинетом самого Шебуева. Это был среднего роста человек, с чисто выбритой, вполне пристойной, но до крайности пустой и невыразительной физиономией, какая бывает у актеров средней руки или юристов, начинающих карьеру. Говорил он немного, но посматривал мягко и испытующе. Казался человеком неглупым, а скорей осторожным. Собралось человек семнадцать — двадцать,— для такой большой и просторной комнаты это было не так много, и я с удивлением заметил, что народу довольно мало, то есть я ожидал большего, мне казалось, что будет целая толпа, человек двести...

Среди этих людей настоящей молодежи было совсем

незаметное количество. Наоборот, я вскоре понял, что собралось немало людей, которые уже вдоволь нанюхались литературного чада, и нельзя было сказать, чтобы он не вскружил головы, скорей наоборот.

И тут же из уст моих полился целый панегирик новому искусству...

...Вдруг на самом рискованном пассаже моего панегирика новой школе, которая и знать не знала о каких-то Буховых, когда уж и Шебуев вдруг приподнял голову и вгляделся в меня несколько вопросительно... меня что-то вдруг как-то *кольнуло*. Я невольно отвернулся от Шебуева и заметил, что как раз прямо против меня сидит очень спокойно, но в немного напряженной позе, на мягком стульчике славный молодой человек, светлый блондин с яркими и прозрачно-ясными глазами. Он поставил себе локти на колени, уперся подбородком в скрещенные пальцы, слушает меня не смигнув, впившись в меня и, видно, не проронив ни звука из всего того, что я наговорил. На минутку это меня даже смутило, но его пристальный взгляд был так попросту чист и внимателен, что я сразу понял: это друг, это *единомышленник!* — и я стал говорить, не так уж волнуясь, не так уж возмущаясь этими косыми усмешечками и слепым равнодушием, но еще горячее — поспокойнее и поувереннее. «Нам нужна поэзия! Вот что нам нужно, а не просто *печатать* во что бы то ни стало и что бы ни подвернулось под руку...»

Со стороны «искушенных» послышались сокрушенно-недоверчивые вздохи, но я уж вдруг совсем пере стал их бояться, видя перед собой эти напряженно вни мательные, светлые, ясные глаза юноши в студенческо тужурке с зеленым кантом и наплечниками, то есть форме Московского высшего коммерческого училиц Вскоре я умолк...

Стали расходиться, и мой юноша подошел прямо к мне с протянутой рукой. «Моя фамилия — Асеев...» —

скромно произнес он. А я кивнул, обрадовавшись, ибо я эту фамилию заметил среди массы стихов в «Весне». «Я вам верю,— сказал он,— давайте пойдемте вместе...» И мы вышли.

— Наверно... я думаю,— проговорил он,— что это правда... вот то, что вы говорили... ну, может быть, я бы не совсем так сказал, но не в этом дело. Вы любите поэзию — это ясно. А остальное — дичь и хлам. Мало ли что им хочется! Им в общем-то кушать хочется. Кому не хочется!

И мы стали весело смеяться над отдельными курьезными выражениями «искушенных», над их постными и раздосадованными личиками, над всем этим нудным кряхтеньем.

— А в общем, просто чепуха,— сказал он,— да и черт с ними!

Мы шли вместе по Неглинной, потом дальше около Политехнического музея, читали стихи, вспоминали Блока, вспоминали удивительного Тютчева. И я дрожащим голосом прочел: «Звезды на небе сияли. Ночь достигла половины...»

— Я этого не знал,— отозвался он тихо, и в голосе его что-то дрогнуло, приветливо и строго.

— А вот это еще! — самое мое любимое...— и стал читать несказанно прекрасную, на мой взгляд, «Итальянскую виллу».

— Вот это стихи...— сказал прочувствованным голосом мой спутник.— Вот для этого стоит жить...

Мы расстались обрадованные друг другом. Стали ходить друг к другу в гости. И через неделю стали закадычными друзьями.

— Так ты, значит, так-таки и уверен, что у меня настоящее, неподдельное дарование? а? — как-то спросил он.— Только всерьез...

— Ну, конечно, всерьез,— отвечал я спокойно,— о чем тут говорить? Для того чтобы быть поэтом, надо

слышать и понимать, что это такое — поэзия,— а ты прекрасно это понимаешь. И в стихах у тебя то тут, то там так оно и проскальзывает. Вдруг возьмет и сверкнет. По-моему, ясно.

— Хорошо-с... Теперь, Сергей Палыч, вообрази: тебя вызывают в суд. Ты свидетель. А я сижу на скамье подсудимых..

— Я бы тебе не посоветовал на эту скамеечку усаживаться!

— Нет, ты не мешай, пожалуйста, ты слушай хорошенько. Огромнейший прокурор, серые бакенбарды и пасть как у акулы, а оттуда несет суточными щами. И он тебе глаголет: «Подсудимый Асеев за свои грехи достоин каторги. Но если будет доказано, что он талантливый, то мы... может быть... хм... хм... его и помилуем. Ясно? Отвечайте суду по чистой совести, талантливый он или нет? А если будет выяснено, что вы с заранее обдуманным намерением нас пытались обмануть, вы и сами попадете на каторгу...» А ты еще клялся и божился, что будешь говорить чистую правду. Ну! Так что ты ему скажешь?

— Так и скажу: он талантливый, и даже очень! И я это прекрасно знаю, потому что вижу и слышу. А потом и все узнают. Вот вам и весь сказ. А грехи? Да у кого это их нет. Вот у этой акулы, которая прокурор, тоже вся мордочка в пуху... да еще подпахивает суточными щами! Добро, хоть бы уха была,— то есть я разумею — акулья! — а то щи!

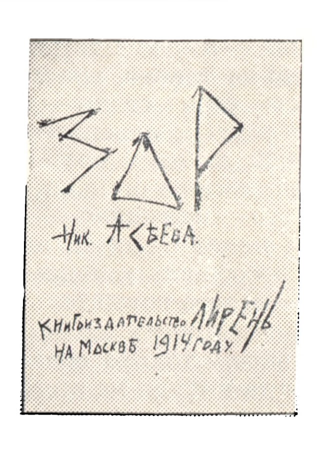
Мы расхохотались и пошли проедать последние грошики на мороженом.

И снова стали вспоминать тонкую нежность Блока, а затем суровую, всю дрожащую страшной трагедией лирику Баратынского, где вдруг неожиданно такая красивая и гордая песня счастья мелькнет — «Всегда и в пурпуре и в злате...» — а то вспыхнет каким-то острым пламенем гневная и острая эпиграмма — «Пекись о

здравии твоем...», потом снова Белый — и какие-то радужные сны и тоненькая, как весенняя травка, красота... А потом опять шагаем и читаем свои стихи — и хоть они не больно хороши, и все в разных маленьких огрехах... но живое чувство страстной любви к поэзии то там, то тут вспыхивает нежданно легким огоньком. И вот именно это-то и трогает, что это — *нежданно*...

Мой новый друг как будто был менее начитан, но *ухо* у него было замечательное, а способность к подражанию — схватывая на лету тему! —просто изумительная.

Конечно, все это было бледненькое... только едва-едва намекало, что, может быть, когда-нибудь из этого что-то получится серьезное... но все-таки сами мы слышали в этом какую-то нежную близость к поэзии, а не эту нелепую воркотню о «свистопляске» и «нравах» — какое нам было дело до них? Мы изо всех сил старались, чтобы нам хоть в своих-то собственных глазах добиться чего-то похожего на настоящее *дело искусства...* и уже то, что оба мы с полслова это друг у друга понимали, и связывало нас какой-то живой и теплой связью.



К. М. АСЕЕВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

До первой мировой войны наша семья жила в Харькове. Я училась в музыкальном училище. Помню день, когда после успешно сданного урока я вернулась домой веселая и счастливая.

Войдя в гостиную, увидела какого-то незнакомого мне молодого человека. Он был в сером костюме, гладко причесан, бледный, голубоглазый. И такой вежливый, что мне показалось, будто бы он подошел ко мне почти на цыпочках! Я спросила его:

— Как вы сюда попали?

Он ответил, что приехал из Курска для поступления в Харьковский университет на филологический факультет. Случайно узнав, что в нашей семье очень любят искусство, он осмелился навестить нас. И добавил, что его зовут Николай Асеев.

Вскоре пришли мои старшие сестры (Надежда, за-

нимавшаяся музыкой, и Мария, впоследствии известная художница,— Мария Синякова).

Будучи требовательными к новым знакомым, сестры учинили Асееву строгий допрос. На другой день он пришел уже со стихами, в которых говорилось об этом своеобразном экзамене.

В высокой гостиной
Легко и невинно
Раздавался девический смех.
Люблю ли Бетховена,
Моцарта, Баха...

...дальше не помню. Тогда же он прочел нам свои стихи, написанные под влиянием Блока.

Вскоре четыре сестры (Мария, Надежда, Вера и я) переехали в маленькую квартирку, куда Асеев стал приходить ежедневно. В первое же посещение он целый вечер с большим увлечением читал нам Блока. А потом так установилось, что в каждый день его приходов менял темы. Он знакомил нас с классиками и новыми поэтами: он читал символистов — Андрея Белого, Брюсова, Сологуба. Но ни Бальмонта, ни Гиппиус Асеев никогда нам не читал.

В этот период пребывания в Харькове Асеев познакомился с Григорием Петниковым. В это же время в Харьков приехал Сергей Бобров. Таким образом, у них возник литературный кружок под названием «Лирика», а уже в Москве, в 1913 году, кружок этот вырос в литературное объединение «Центрифуга», возглавляемое Сергеем Бобровым. К «Центрифуге» примкнули Борис Пастернак, Божидар, К. Большаков и другие.

Вскоре я закончила музыкальное училище. Вместе с сестрой Марией мы отправились в Москву: я поступать в консерваторию, Мария для занятий живописью.

Поселились мы на М. Полянке, у старшей, уже замужней сестры Надежды Михайловны Пичета.

Рано утром я и Мария шли по Тверскому бульвару. У Марии в руках была красная роза. Нам встретился красивый высокий молодой человек,— это был Маяковский. Он подошел к нам со словами: «Деточка, почему у вас в руках такой пошлый цветок?» На это Мария ответила:

— Цветы не могут быть пошлыми.

Маяковский улыбнулся и спросил:

— А не хотите ли вы пойти на вечер футуристов в Политехнический музей? Там будут выступать все футуристы: Бурлюк, Крученых, Хлебников, Каменский и другие.

Мария обрадовалась приглашению, и вечером мы отправились в Политехнический...

Приблизительно через месяц после нашего приезда опять пришел к нам Николай Асеев, приехавший из Харькова. Он поступил сначала в Московский коммерческий институт, куда поступить было легче, чем в другие высшие учебные заведения, и одновременно ему удалось зачислиться вольнослушателем в Московский университет на филологический факультет.

Асеев стал приходить к нам ежедневно, так же как и в Харькове. Круг наших друзей постепенно расширился. Коля Асеев привел к нам своего друга, поэта Бориса Пастернака.

Однажды были у нас Асеев и Бобров. Позвонил телефон. Оказалось, что это звонил Маяковский. Он попросил разрешения зайти к нам с Василием Каменским. Нас это обрадовало, и мы, конечно, согласились. Но Сергей Бобров запротестовал, сказав, что он не любит других футуристов и не хочет с ними знакомиться, и, обратившись к Асееву, добавил:

— Коля, давай уйдем.

Но Коля не захотел уходить, возразил:

— А я очень хочу поближе познакомиться с Маяковским и послушать, как он читает свои стихи.

Бобров ушел, а Асеев остался. Тут же пришли Маяковский с Каменским. Асеев был потрясен чтением прекрасных стихов Маяковского и всем его видом. Маяковский был красив в своей желтой кофте,— молодой и вдохновенный. С этой минуты Асеев и Маяковский, два поэта, полюбили друг друга на всю жизнь.

Василий Каменский весело поглядывал на них обоих.

Началась первая империалистическая война. Вся наша семья уехала на Украину. С нами поехал и Николай Асеев. К этому времени у него было много друзей — поэтов и литераторов, все с удовольствием приезжали на Украину в деревню Красная Поляна Харьковской губернии. Туда к нам приезжали Велимир Хлебников, Борис Пастернак, Дмитрий Петровский и харьковские художники — Ермилов, Косарев, Агафонов и другие. Когда белогвардейцы захватили Харьков, эти художники прятались у нас. Хлебников много писал о Красной Поляне, например «Синие оковы», «Три сестры» и другие стихи.

А в Буремире продолжается война...

Месяца за три до окончания войны Асеева призвали в армию. Он служил там ординарцем, возил донесения на фронт в прифронтовой город Гайсин. Приблизительно в конце февраля Асеев приехал к нам в Красную Поляну и сказал, что фронт распался, что генералов арестовали, а часть, где служил Асеев, переводят в Мариуполь. Увидев мое грустное лицо, Асеев предложил мне ехать с ним. Я спросила:

— В какой же роли я поеду? Как «солдатская девица»?

— Что вы, что вы! — вскричал Коля.— Мы сейчас же с вами обвенчаемся.

Я, давно его любя, тут же согласилась.

Все произошло очень просто и быстро. Коля нанял телегу, и мы поехали. В деревне Кирсаново (по дороге к вокзалу) была старенькая деревянная церковка. Коля вызвал священника, который сказал: «Невеста чересчур молода, есть ли у вас разрешение от родителей на брак?» Я ответила, что родителей у меня нет. Умерли.

— А опекун?

— Тоже нет.

Но уговоренный нами священник все же нас обвенчал. Так я стала женой Николая Асеева.

В поезде до Мариуполя никаких приключений или интересных событий не произошло.

Итак, мы в Мариуполе. Николай Асеев, как солдат, пошел в казарму, а мне нанял комнату в хатке у рыбака на самом берегу Азовского моря.

Асеев очень любил читать стихи, поэмы и сказки солдатам — своим товарищам по казарме. Им очень нравилось его слушать. Он читал им и сказки Толстого, и сказки Языкова, и народные русские, и всякие другие. Солдаты, полюбившие Асеева, избрали его солдатским депутатом.

Однажды Асеев пришел ко мне очень взволнованный, рассказал:

— Вчера ко мне подошел офицер, спросил, кто я такой. Я отрапортовал: «Я — нижний чин Николай Асеев». Офицер ответил: «Я это знаю, но, кроме того, знаю и то, что вы интеллигентный человек. Поэтому командование решило отправить вас в юнкерское училище, в Иркутск».

В полном отчаянии Коля стал советоваться со мной, что же делать, говоря:

— Оксаночка, вы же знаете, что юнкера — ярые враги революции.

Я посоветовала бежать. Но Коля не согласился на побег, сказал, что будет думать, как избавиться от столь ужасной участи.

Он пошел к полковому врачу, попросился к нему на медицинское обследование. После осмотра Асеев спросил врача, в каком состоянии его легкие. Врач ответил:

— В плохом. У вас туберкулез.

Тогда Коля стал просить у врача трехмесячный отпуск для лечения. Сначала врач отказался, но после долгих уговоров все же отпуск дал. Придя ко мне, Коля сказал:

— Оксаночка, собирайте свои вещи,— поедем.

И мы поехали... Сначала в Балашов. Там мы узнали, что взводы сибиряков, уходящих с фронта, уезжают в Сибирь — на родину. Мы нашли на железнодорожной станции состав с уезжающими в Сибирь. В вагонах теснота была невыносимая, многим приходилось стоять, мест свободных не было. Стояли и мы.

Поездка продолжалась медленно и долго. Через три-четыре дня я совершенно обессилела от усталости... Днем подошел к нам молодой человек и, увидев у Коли на руке красную повязку солдатского депутата, возмущенно сказал:

— Вы, солдатский депутат, стоите в коридоре! Дайте-ка мне эту повязку.

Коля снял повязку, дал ее молодому человеку. Тот, надев ее себе на руку, исчез. Через полчаса он опять подошел к нам, повел нас через всю тесноту переполненного вагона, открыл какое-то купе и сказал:

— Вот здесь ваши места.

А сам стал у двери и всем, желающим войти в купе, говорил:

— Нельзя, нельзя. Тут едут депутаты.

Несколько ночей мы спали спокойно. Поездка продолжалась тридцать шесть дней. Наконец большая остановка. Доехали до какого-то города. Тут забегали люди, все засуетились. Кто-то закричал:

— Дальше поезд не пойдет. Вылезайте все. Владивосток!

Так закончилось наше долгое путешествие. Когда мы приехали во Владивосток, там уже были Советы.

Мы во Владивостоке. Денег нет. Квартиры нет. Еды нет.

Увидев лачугу на сопке, мы отправились туда. И наняли комнату без отопления с целой горой льда на окне, на стенах. Жить здесь было немыслимо. Но все объявления о сдаче квартир и комнат гласили: «Одинокому иностранцу».

На последнюю свою мелочь Асеев дал объявление в газету: «Если есть в городе литератор, пусть откликнется» — и указал свой адрес. На другой день пришел молодой человек, назвавший себя поэтом Венедиктом Мартом. Он предложил Асееву пойти в типографию местной газеты, где работал его отец. Коля пошел в типографию. Здесь ему предложили работу репортера. Надо было сделать репортаж — не помню какого — заседания. По выполнении этой работы Асееву сказали в газете, что, по-видимому, он репортером никогда не был, но по его данным ему следует писать в газету статьи, рассказы, стихи.

Затем Коля постарался разыскать место, где помещался Совет рабочих и солдатских депутатов. Там организовывалась Биржа труда, которую устраивал рабочий Петр Никифоров (впоследствии член правительства ДВР), очень добрый, энергичный, прекрасный человек.

Он предложил Асееву поехать на Сучанские копи, обследовать взрыв шахты. Приехав на место, Асеев увидел обширную территорию, где находились шахты. Увидел он и группы рабочих, стоявших в угрюмом молчании. Из дома, стоявшего неподалеку, вышел главный

инженер копей. Он обратился к Асееву с предложением позавтракать вместе. Но Асеев ответил, что сначала он займется делом, из-за которого он сюда приехал, и спустится в шахту для установления причины взрыва. Тут он подошел к группе рабочих с просьбой спустить его в шахту. Сделать это вызвался один из них, предложил спуститься вместе. Они спустились в шахту очень примитивным способом, на каких-то канатах.

В шахте Асеев увидел бидон с развороченным боком и обрывок фитиля. Все говорило о том, что взрыв был сделан нарочно: частный владелец копей был заинтересован вырабатывать уголь по повышенной цене. Это подтвердил рабочий, с которым Асеев спускался в шахту.

Поднявшись наверх, Асеев увидел, что рабочие повеселели, дружелюбно улыбаясь, охотно жали ему руку, а инженер больше не показывался, чтобы пригласить его «закусить» вместе.

Когда Асеев вернулся в город с отчетом о поездке, Никифоров был очень доволен, похвалил и дал рекомендательное письмо в газету. Среди сотрудников газеты было много рабочих и журналистов, возвратившихся на родину из Америки, например Семешко, Киевский, Новицкий и другие.

Асеева приняли хорошо, дружелюбно. Работая в газете, он вел стихотворный фельетон, был ночным корректором и выпускающим газету.

Во время японского переворота, происшедшего 4 апреля 1920 года, редактору газеты, коммунисту, нельзя было подписывать своим именем газету. Поэтому Николаю Николаевичу Асееву предложили давать свою подпись, как беспартийному. Асеев ответил согласием, но с одним условием, именно, чтобы у него в газете была страница, где бы он мог опубликовывать то, что найдет нужным. После этого Асеев обрел возможность печатать Маяковского чуть ли не каждый день.

...Вскоре Асеев познакомился с Николаем Федоровичем Насимовичем-Чужаком, литератором, журналистом, политическим деятелем, приехавшим из Сибири. Совместная литературная работа и любовь к стихам Маяковского очень сдружила их, в особенности когда в 1920 году стал выходить журнал «Творчество», где публиковались работы писателей и поэтов. Редактировал журнал Чужак. В июне 1920 года вышел первый номер журнала. Всего во Владивостоке вышло шесть номеров.

* * *

Так как собираться для общения людям было негде, Асеев решил создать небольшой клуб, литературно-художественный. Для этого он под театром «Золотой рог» присмотрел подвальное помещение и снял его. Мы с Асеевым пошли на Светланскую улицу в магазин Чурина и там на заработанные в газете деньги купили китайский ситец, красные маки по желтому полю, и этим ситцем обили стены подвала. По стенам поставили скамьи. Построили маленькую эстраду для выступлений. Назвали клуб в честь Блока «Балаганчик».

Открытие клуба состоялось в 1919 году. На дверях висел плакат: «Кто любит литературу, живопись, музыку — заходите. Милости просим».

Сюда приходили все местные люди искусства, а также и приезжавшие во Владивосток литераторы, художники, музыканты,— они принимали участие в выступлениях. В «Балаганчике» бывали Бурлюк, Третьяков, Алымов, Пальмов, Фиала, Курзин, великолепный пианист Виноградов и многие другие.

В 1920 году на конкурсе стихов на лучший первомайский марш Асеев получил первую премию за свой марш:

Была пора глухая,
Была пора немая,
Но цвел, благоухая,
Рабочий праздник мая.

Осыпаны снегами,
Окутаны ночами,
Встречались мы с врагами
Грозящими очами.

Но встал свободы вестник
Подобный вешним водам,
Винтами мрачных лестниц
Взлетевший по заводам.

От слез его синели
И плавились металлы
И ало пламенели
Рабочие кварталы.

Его напевы проще,
Чем капли снеготая,
Но он запел — и площадь
Замолкла, как пустая:

«Рабочие России,
Мы жизнь свою сломаем,
Но будет мир красивей
Цветущим Первым маем!

Не серый мрамор крылец,
Не желтый жир паркета —
Для нас теперь раскрылись
Все пять объятий света!

Разрушим смерть и казни,
Сорвем клыки рогаток,—
Мы правим правды праздник —
Над праздностью богатых.

Не загремит «ура» у них,
Когда идет свобода,
Он вырван, черный браунинг,
Из рук врагов народа.

И выбит в небе дней шаг,
И нас сдержать не могут;
Везде сердца беднейших
Ударили тревогу.

Над гулом трудных будней
Железное терпенье
Полней и многотрудней
Машин шипящих пенья.

Греми ж, земля глухая,
Заводов дым вздымая,
Цвети, благоухая,
Рабочий праздник мая!

Неизвестными путями был привезен кем-то переписанный экземпляр «Двенадцати» Блока. Это переживалось как праздник. Асеев читал всем и каждому новое произведение Блока.

Среди посетителей «Балаганчика» оказался режиссер, поставивший силами деятелей нашего клуба две пьесы: «Похищение сабинянок» по Леониду Андрееву и «Белый ужин» Ростана. Так как костюмера не было, то я взялась шить тоги и туники для участвующих в «Похищении сабинянок». Белые одеяния обшивались по краям рисунком с золотом. Оба спектакля имели большой успех, посещались многими. Помещение не могло вместить всех желающих увидеть пьесы.

«Балаганчик» стал любим.

* * *

12 марта 1920 года у вокзала состоялся митинг. Говорились речи. Присутствовавший на митинге Асеев попросил слова. Но его выступление все откладывалось. Тогда рядом стоявший молодой человек, очевидно заметивший недовольство на лице Асеева, тихо спросил: «Что вы хотите говорить?» Николай Николаевич отве-

тил: «Стихи о партизанах». Молодой человек взял Асеева под руку со словами: «Тогда пойдемте вместе». И они пошли по направлению к поселку Эгершельд, где на небольшой площадке у грузчиков тоже шел митинг. Спутник Асеева подошел к председателю и, переговорив с ним, обернулся к Асееву, сказал: «Говорите!» Асеев стал читать свои стихи, с большим одобрением принимаемые слушателями.

Потом стал говорить молодой человек, приведший Асеева. Он сказал короткую, очень сильную речь. Рабочие слушали его с восторгом. Потом люди окружили его, и он ушел с ними. Асеев спросил у соседа, кто же был этот человек, так горячо выступавший. Оказалось, это был Сергей Лазо, руководитель партизан, председатель Революционного военного совета.

Асеев пришел домой взволнованный необыкновенной встречей, рассказал мне о ней со всеми подробностями. А через месяц стало известно, что Сергей Лазо был схвачен японцами... В конце мая он был сожжен в паровозной топке японцами при гнусном участии белогвардейцев.

Впоследствии Асеев написал стихи, посвященные героической смерти Сергея Лазо,— «Память о Лазо».

Весной 1921 года у Асеева вышел сборник стихов «Бомба». В то время во Владивостоке уже начали хозяйничать японцы.

Весной того же года Асеев получил письмо от неизвестного (письмо было без подписи). Оно гласило: «Дорогой Николай Николаевич! Поскорее уезжайте из Владивостока. Готовится белогвардейский переворот Меркулова».

На другой день мы выехали в Читу, в Дальневосточную республику.

* * *

В Читу мы приехали в мае 1921 года. Мы хотели сразу ехать дальше в Москву, но старшие товарищи предложили Асееву остаться в Чите на год — поработать в ДАЛЬТА (Дальневосточное телеграфное агентство).

Дали нам номер в гостинице «Централь», в общежитии Наркоминдела. Время было тогда очень неспокойное. По ночам нередко в окна слышались крики, шумы, выстрелы. Наряду с культурными, серьезными людьми в Чите можно было встретить много разных лиц и сомнительного свойства.

В столице ДВР нарождалась новая эпоха с ее диспутами, с выступлениями ярких, талантливых представителей этой эпохи. Время, проведенное в Чите, было очень интересным, творчески насыщенным.

В декабре 1921 года Асеев поставил трагедию «Владимир Маяковский», вызвавшую громадный интерес у слушателей. Было много выступлений, споров,— в общем, постановка имела успех. В Чите произведения Маяковского пропагандировались очень широко и в работе группы «Творчество», и в печати. Так же как и во Владивостоке, по инициативе Асеева, Чужака, Пальмова и Третьякова был создан клуб, названный «Искусстварь», где происходили митинги искусств, диспуты,— борьба нового искусства со старым. У нас было много противников, держащихся за все старое; молодое искусство им было недоступно. Но к нам пришли и приверженцы нового — молодые, свежие силы.

Из Читы почта до Москвы доходила свободно. Стали приходить письма и из Москвы. Маяковский прислал письмо, где он выразил желание приехать в Читу. Но поездка не состоялась.

От А. В. Луначарского был получен телеграфный вызов, в котором говорилось о том, чтобы Асееву пре-

доставили вагон первого класса для переезда его с женой в Москву.

28 января 1922 года мы выехали в Москву вместе с четырьмя товарищами, направленными тоже в Москву. Поездка продолжалась больше месяца.

В Москве на вокзале нас с Колей встретил Брик и отвез к Маяковскому, который на другой же день достал нам комнату во Вхутемасе на девятом этаже. Многие писатели описывали эту комнату и в стихах и в прозе. Дверь в нашу комнату была из фанеры, окрашена мелом. Когда кто-нибудь из друзей и знакомых приходил к нам и не заставал дома, то оставлял свою подпись на белой странице двери. Так постепенно с течением времени почти вся дверь заполнялась автографами.

Хорошо сказано об этом в стихах Семена Кирсанова, описавшего в них то далекое время.

Молодой головой
                    русея,
над страницей стихов
                    склонясь,
был Асеев,
          и будет Асеев
дверь держать
                    открытой для нас.

Мне приснится,
                    и прояснится,
и сверкнет отраженным
                    днем —
на дарьяльскую щель
                    Мясницкой
этот сверху глядящий
                    дом.

Я взбегал
          по крутейшей лестнице
мимо примусов и перин
на девятый этаж,
                    где свеситься
было страшно,
                    держась перил.

У обрыва
лестничной пропасти
был на двери фанерный
лист,
на котором
крупные подписи
открывавших ту дверь
вились.

Я о том расскажу
при случае,
а за подписями щита —
знаменитые строки
слушали,
знаменитые —
шли читать...

За фанерой
дверного ребуса,
на партнера кося глаза,
с Маяковским
Асеев резался,
выходя на него с туза.

Бот ночные птицы
закаркали,
вот каемка зари легла...
Только ночь
не всегда за картами,
не всегда здесь велась
игра.

Стекла вздрагивали
от баса,
под ногами дрожал
паркет,
и читался
«Советский паспорт» —
аж до трещин на потолке!

Над плакатами
майских шествий
в круглом почерке
воскресал

и всходил на помост
Чернышевский,
мчались сани
синих гусар.

Если только
тех лет коснуться —
выплывают из-под строки
мейерхольдовские
конструкции,
моссельпромовские
ларьки,
тень «Потемкина»
на экране,
башня Татлина
в чертеже,
и Республики воздух
ранний,
пограничник
настороже...

И еще не роман,
не повесть
здесь отлеживались
на листе,
а буденновской песни
посвист
из окна
вырывался в степь,
и казаки неслись
усатые
под асеевский пересвист,
это годы неслись
двадцатые,
это наши стихи неслись!
Еще много войн
провоюется,
и придет им пора стихать,
но созвавшая нас
Революция
никогда
не стихнет
в стихах!
И ни тления им,
ни пепла,

ни забвенья —
 они звучат
и вытаскивают из пекла
обожженных войной
 внучат.

Потому что,
 когда железная
лапа смерти хватает нас —
нашу жизнь
 продолжает
 поэзия,
не смолкающая
 ни на час.

Мы не урны,
 и мы не плиты,
мы страницы страны,
 где мы
для сверкающих глаз
 открыты
за незапертыми
 дверьми.

Через несколько дней после нашего приезда пришел наш давний друг, любимый нами поэт Велимир Хлебников,— он тут же написал большую поэму «о двух голубках, приехавших с Востока» — «Синие оковы».

С момента приезда в Москву у Асеева началась большая работа в журналах, в издательствах. В созданном по инициативе Маяковского журнале «ЛЕФ» работали многие талантливые писатели — поэты, прозаики, критики. В него вошел и Асеев.

К десятилетию Октября им была написана поэма «Семен Проскаков» с пометой: «Стихотворные примечания к материалам по истории гражданской войны». Сначала, в 1927 году поэма печаталась не полностью в «Красной нови», в «Октябре», в «Новом ЛЕФе», а полностью «Семен Проскаков» вышел в 1928 году, иллюстрированный фотографиями.

Пронеслись
и канули,
плавя длинный след,
эти
великановы
десять лет...

К десятилетию Октября Маяковский опубликовал свою замечательную поэму «Хорошо!».

Нам давно хотелось поехать в Италию. В 1927 году в Государственном издательстве готовилось к опубликованию первое собрание сочинений Асеева. Вот мы и решили гонорар за издание использовать на поездку. Визу и паспорта получили без особых затруднений и отправились из Москвы маршрутом Варшава — Вена—Рим—Неаполь — Сорренто. Задержались в Риме, осматривая его достопримечательности. Риму потом Асеев посвятил много стихов.

Послали телеграмму Горькому, прося назначить день, в который можно было бы к нему приехать. Получив ответ «Жарьте любой день. Горький»,— мы отправились в Сорренто. Это было 5 ноября 1927 года.

Против виллы, где жил Горький, была гостиница-пансион под названием «Минерва», где останавливались все, желавшие повидаться с Горьким. Там же остановились и мы. На другой день мы пошли к нему. Горький оставил нас обедать. За столом было много домочадцев и гостей. Тогда же мы увидели среди гостей и Ольгу Форш, с которой потом встречались несколько раз. После обеда было много разговоров о литературе, искусстве. Асеев читал стихи Тихонова, Светлова, Сельвинского, Кирсанова и свои. Горький слушал очень активно, ярко выражая свое впечатление. Потом он стал рассказывать о своих днях молодости, о встречах с писателями. Эти рассказы были очень образны, живы, интересны.

Однажды мы увидели у Горького приехавшего с Урала Ганецкого, привезшего Горькому в подарок от рабочих каменную чернильницу, очень тепло принятую Горьким. В тот день после обеда Алексей Максимович повел нас в подвальный этаж, в уютно обставленную комнату, и попросил Асеева прочесть стихи. Асеев прочел «Семена Проскакова». Я сидела поодаль и видела во время чтения слезы, текущие по щекам Горького. Ганецкий, видимо, тоже был тронут содержанием поэмы. Когда Асеев закончил читать, Горький спросил, какой тираж поэмы, на что Асеев ответил: «Три тысячи».

Горький удивился и сказал:

— Как можно такую замечательную поэму выпускать малым тиражом! Такие вещи следует издавать стотысячным тиражом.

Оба слушателя говорили много хорошего о поэме, о времени огромном, значительном, переживаемом людьми нашей страны.

Подошло время расставаться нам с Италией. На обратном пути в Риме, в полпредстве, Асеев читал «Хорошо!» Маяковского и своего «Семена Проскакова».

Возвращаясь в Москву, в Берлин мы приехали как раз под Новый год, 1928 год. Там были два дня, ничем особенным не отличавшихся. После цветущей, жизнерадостной Италии Германия произвела на нас гнетущее впечатление.

В Москве Асеев опубликовал путевые заметки об Италии, назвав книгу «Разгримированная красавица».

Вернувшись в Москву, Асеев занялся литературной работой. В жизнь Асеева ворвалось ужасное несчастье — смерть Маяковского. Это горе переживалось очень тяжело, безутешно... После такого удара Асеев

стал работать над поэмой «Маяковский начинается»,— этот литературный памятник он поставил другу.

В 1941 году Асеев получил за поэму Государственную премию.

Началась война. Асеева оставили работать в Москве, в газете «Правда». Каждый вечер после работы он шел домой в темноте через всю Москву. Когда начиналась бомбежка, прохожие спешили в бомбоубежища.

В то время многие уезжали из Москвы. Некоторые писатели уехали в Ташкент, в Чистополь. Однажды Асееву встретился знакомый, адмирал речного пароходства. Он спросил:

— Почему вы до сих пор в Москве? Где ваша семья?

— В Чистополе,— был ответ.

Адмирал сказал:

— Соберите всех оставшихся. Отвезем.

На следующий день Асеев пошел в Литфонд, рассказал, что есть пароход для перевозки оставшихся писателей. Его спросили: «А кто оплатит переезд?» На этот вопрос он не мог ответить. Наутро Асеев отправился на пристань. Там была большая суматоха, шла беспорядочная погрузка людей, вещей, мебели,— объяснили, что такой тяжелый груз необходим, чтобы пароход не перевернулся... В конце концов Асееву разрешили ехать, поместив его в каюту. Там он писал стихи. Приехал в Чистополь больной, с воспалением легких. Наша комната не отапливалась. Была уже поздняя осень. Приходилось с трудом доставать топливо, вылавливая его из Камы.

За пароходом звенела волна,
За пароходом темнела война.

Много стихов о войне — агитационных, против фашизма, гневных, о любви к родине — написано Асеевым во время войны и много позднее.

* * *

Асеев до самозабвения любил литературу, поэзию,— почти все время он был занят если не писанием стихов или статей, то чтением. Кирша Данилов, Аввакум, русские сказки, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок, Диккенс, Брет-Гарт, Стивенсон и многие другие писатели были его друзьями-собеседниками. Его мысли постоянно находились в состоянии творческого напряжения, временами доходящего до светлого экстаза, животворящего вдохновения. В творчестве была его жизнь. Асеев дышал творчеством.

Нравилась ему и педагогическая работа в Литературном институте, где он охотно читал лекции о поэтическом мастерстве, всегда к ним готовился с большим удовольствием.

Но у него был и постоянный враг, не отступавший от него, очень мешавший ему, враг злой, коварный, изнуряющий, нередко приходивший неожиданно,— это болезнь, насильно бросавшая в постель на долгие сроки... Но и тогда Асеев не откладывал в сторону перо, продолжал работать.

Очень любил он среди молодых литераторов отыскивать таланты, наставляя их добрым советом. Молодежь шла к Асееву, очевидно зная, что поэт встретит пришедшего тепло и открыто, поделится своими знаниями и опытом. Взаимное общение давало радость обеим сторонам. Асеев способствовал опубликованию стихов многих поэтов; очень огорчался, если что-либо тормозило выход их книжек, и весело радовался в случае успеха. Потом сам старался закрепить удачу своими рецензиями. Петр Незнамов, Николай Ушаков, Ольга Петровская, Михаил Светлов, Юрий Панкратов, Сергей Васильев, Лев Озеров, Сергей Наровчатов, Андрей Вознесенский, Виктор Соснора, Юнна Мориц и многие другие часто появлялись у нас в доме. Асеев искренне ра-

довался их приходу, и долго-долго в его кабинете раздавались их голоса. Особенно выделял Асеев Андрея Вознесенского, Льва Озерова, Сергея Васильева убеждал писать пьесу, говоря: «Ты мог бы стать чуть ли не Грибоедовым, а пишешь отдельные сатирические стихи». Ценил Николай Николаевич и стихи Незнамова, погибшего на войне.

В светлые периоды, когда здоровье было покрепче, Асеев любил ходить на каток, возвращался оттуда оживленный, розовый, помолодевший. Ежедневно он занимался гимнастикой. Любил играть в теннис. Очевидно, поэтому ему удавались стихи на спортивные темы.

Обычно Асеев писал стихи по утрам. После пробуждения садился за свой стеклянный круглый столик. Работал долго и на все просьбы позавтракать — не соглашался, говорил: «Подождите, подождите». Потом звал меня и читал написанное, заглядывая мне в лицо. По лицу решал, нравятся мне сложившиеся стихи или нет. Потом он, успокоенный, шел завтракать. Уходил по своим делам в редакции. Возвращался с массой свертков, наполненных пастилой, мармеладом, конфетами, ложился отдыхать и с большим удовольствием поедал сладости. Сам себе написал шутливые стихи:

Некормленый «Колядка» — зверь!
А кормленый — уходит в дверь.

Была у него огромная любовь к лошадям. Если предстояли интересные бега, то ничто не могло удержать Николая Николаевича от поездки на ипподром, где у него были и любимые лошади, и товарищи по увлечению бегами, и... тотализатор.

И еще карты. Асеев и Маяковский нередко состязались в этом увлечении. Бывало, как дети, с азартом отдавались они игре,— и тогда уж не стоило даже пытаться оторвать друзей от захватившего их занятия.

Встречались они чуть ли не ежедневно. Не видеться часто они не могли,— в этом была у них огромная душевная потребность, необходимость общения. Ну и работа, конечно! Много агитационных стихов «Н. Асеев, В. Маяковский» издавались отдельными брошюрами с оформлением обложек и виньеток, изготовленных рукой Маяковского, а стихи писались Асеевым. Таких сборничков вышло девять. Над каждым из них поэты дружно трудились — им хотелось сделать сборнички яркими внешне, толковыми по содержанию,— всегда тепло, мягко советовались, порой жарко спорили, но в конце концов всегда приходили к общему согласию. И тогда уже, довольные, смеялись, шутили, изощрялись в остротах,— никак не могли расстаться, несмотря на позднее время. Очень хорошо им было вместе.

Таким я помню Асеева на протяжении нашей долгой совместной жизни — человека порывистого, отзывавшегося на все события, происходившие в мире, в родной стране, в нашей жизни. Горячо, страстно переживал он всё, затрагивавшее его сердце, его ум и память. То, что его волновало, интересовало, он торопился запечатлеть на бумаге; он словно боялся не успеть высказать людям свои мысли...

В последний день его жизни, когда я пришла в больницу «Высокие горы», Николай Николаевич сел на постели и начал читать стихи. Со стихами уходил он из жизни...



ОЛЬГА ПЕТРОВСКАЯ

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

Не верю ни тленью, ни старости,
ни воплю, ни стону, ни плену:
вон — ветер запутался в парусе,
вон — волны закутались в пену.

Н. Асеев

Николаю Николаевичу Асееву никогда не угрожала старость. Он всегда был молод. Он хотел быть молодым всю жизнь, и ему это удавалось. Даже в семьдесят три года, когда одолевала тяжкая болезнь, когда уходили последние силы, Николай Николаевич не утратил молодости душевной.

Стихи не покидали его даже ночью. Уже в конце жизни часто он, полусонный, просил жену: «Оксана, дай бумагу и карандаш. Во сне сложились стихи. Скорее, а то я к утру забуду»,— ну какая же это старость! Творить во сне, в болезни! Нет, это не только талант, но и вечная молодость, неиссякаемая.

Впервые я увидела и услышала Николая Асеева во Владивостоке ранней весной 1921 года в клубе Лите-

ратурно-художественного общества Дальнего Востока. Клуб этот помещался на Светланской улице [1], в подвале под театром «Золотой рог»; назывался клуб «Балаганчик». Там, на желтом поле ситцевых стен весело цвели огромные маки. И горели лампы даже днем.

Асеев — отец и создатель клуба. Это он хлопотал, трудился, добивался помещения, привлекал людей. Общими силами организовали «Лит.-худ. о-во Дальнего Востока» и при нем клуб. В «Балаганчике» выявлялись таланты и утверждалось новое искусство, в ногу идущее с пролетариатом.

В тот, навсегда запомнившийся мне вечер Асеев пообещал посетителям «Балаганчика» прочитать поэму Маяковского «Человек».

И вот Асеев на эстраде. Явно взволнован, приподнят. Глаза устремлены вверх. Может быть, мыслями он с далеким другом, с Маяковским, недавно приславшим свою книгу? Асеев задумчиво потирает руки. (Впоследствии я заметила, что в минуты радостных переживаний или глубоких раздумий ладони его всегда смыкались в легком поглаживании.)

Вот стоит он, худой и бледный, в сером костюме. Сосредоточен. Углублен в себя. Асеев читает великолепно!

Потрясенная услышанным, сдерживаю волнение. Восхищение поэмой, печаль перед величием трагедии человеческого сердца слились в чувство боли, радости, большого изумления и сострадания.

В тот вечер Асеев привел меня к Маяковскому. Я благодарна за это.

Вскоре познакомили меня с Асеевым, его женой Оксаной. А потом мы решили вместе ехать в Москву.

Но сделать это было не легко. Между нами и Моск-

---

[1] Теперь — Ленинская улица.

вой встали трудности переезда через Сибирь, где оставались еще белогвардейцы. Нам пришлось задержаться в Чите. Там и началась по существу общая работа с Асеевым, жизнь бок о бок с ним, с товарищами по литературной группе «Творчество».

Мы жили и работали в Чите, словно переходили большой мост — напряженно, терпеливо, сосредоточенно,— мост, соединяющий нас с Москвой.

Так продолжалось год.

Если мир еще нами не занят
(нас судьба не случайно свела),
ведь у самых сердец партизанят
наши песни и наши дела.

Н. Асеев

Чита. Старый сибирский «неспокойный» город. В прошлом — с декабристами, с Чернышевским, с Бабушкиным. В 1921—1922 годах Чита — тревожно бьющееся сердце Сибири, всего Дальнего Востока. Чита — столица новорожденной Дальневосточной республики,— ДВР называли эту республику-буфер, созданную по идее и указанию В. И. Ленина.

Время было трудное. Рядом буйствовали банды Семенова и Унгерна. Молодая республика была настороже.

Летом 1921 года в Читу приехал Николай Асеев. Он привез изданную во Владивостоке «Бомбу» — книгу стихов, вполне оправдывавшую свое название. Она была неожиданна, как молния, как взрыв.

Маяковский, получив от Асеева «Бомбу», прислал в ответ свою книгу с дарственной надписью: «Бомбой взорван с удовольствием. Жму руку — за!»

Многие истосковавшиеся по хорошим стихам с радостью приняли асеевскую «Бомбу». Некоторые с любопытством. А кое-кто и с недоверием.

Асеев подарил мне «Бомбу» с такой надписью: «Нежнейшему голосу Оли Петровской, подобному падающей весенней капели, и всей ей, весенней свежести, и всей ее весне». Эти слова ценю и помню, как завет старшего товарища. Книгу я сберегла, как драгоценность.

Асеев, всегда чуть-чуть взволнованный, работает в читинских газетах, быстро отзываясь на политические события острыми фельетонами. В то же время он замещает начальника Дальневосточного телеграфного агентства (ДАЛЬТА). Начальником ДАЛЬТА в то время был тов. Колко.

Вслед за Асеевым в Читу приехал Сергей Третьяков — высокий, худощавый, весьма иронический, даже насмешливый,— очень острый человек, сосредоточенный на своих трудных умозаключениях. В то время Третьяков был поглощен вопросами искусствостроения и культуры. Летом 1921 года ему был предложен пост товарища министра просвещения, который он занимал до конца декабря того же года. В январе 1922 года Третьяков ушел из Минпроса и был назначен заведующим Дальцентропечатью: тогда-то и созрела мысль о создании «Мастерских искусствостроения».

Редактор газеты «Дальневосточный путь» (орган Дальневосточного Бюро ЦК РКП(б) старый член РКП, коммунист с 1904 года, Н. Ф. Чужак предложил Асееву и Третьякову организовать литературную группу. Ее назвали по имени журнала «Творчество» (орган Дальбюро ЦК РКП(б), редактируемого Чужаком во Владивостоке в 1919—1920 годах. Некоторые товарищи, вошедшие в группу «Творчество», до создания ее печатались и работали в журнале «Творчество». Но образование литературной группы «Творчество» произошло не во Владивостоке в 1920 году, а в Чите в январе 1922 года. Вот это различие между журналом «Творчество» и группой «Творчество» некоторые современные литераторы не замечают, и эта ошибка проникла в ряд изданий и пуб-

ликаций. Так, некоторые утверждают, что Д. Бурлюк, С. Алымов были членами нашей группы. Это неверно: членами группы они не состояли, но до создания литературной группы «Творчество» они печатались в журнале «Творчество», выходившем во Владивостоке.

Пишу об этом для того, чтобы разъяснить недоразумение.

Наша группа состояла из восьми человек — литераторов, художников и поэтов. В состав группы вошла и я. Всех нас объединяла общность литературных вкусов и большая работа по пропаганде творчества Маяковского, Блока, Пушкина, Хлебникова, Пастернака и других поэтов — прежних и новых. Устраивались диспуты об искусстве, о политике, о культуре — обо всем, что волновало умы. Группа «Творчество» старалась рассказать рабочим, служащим и бойцам, учащимся (всем, кто приходил на доклады группы) об ответственности художника, об участии его в общепролетарском деле. Поэтому неверно думать, что группа «Творчество» была просто футуристической группой. Тому свидетели вороха газет и журналов, которые издавались тогда на Дальнем Востоке.

Сентябрь окружил город розовым багульником. На всем яркое, совсем южное солнце. В воздухе запах пыли и хвои. Повсюду рыжие сосны и темно-зеленые кедры. Мы уже привыкли к тому, что они живут прямо на улицах, немощеных и пыльных.

На главной улице по булыжной мостовой проносится громыхающий транспорт: грузовики, телеги. Ни трамвая, ни автобуса.

Осень. Город оживляется. Здесь и там замелькали буденовки, кепки, фуражки, алые косынки. Много молодых лиц. Начала свою работу и группа «Творчество».

В сентябре 1921 года на очередном митинге искусст-

ва была принята, а затем опубликована декларация инициативной группы по организации Мастерских искусстворостроения. В этой декларации говорилось:

«...Общий революционный сдвиг современья диктует расширение и напряжение деятельности широких масс в области искусства... Художественный процесс должен стать всеобщим, активность работников искусства должна рассматриваться в творческой восприимчивости массы... Довольно хилому мещанству провинциального искусства плестись в хвосте столичных лабораторий!.. ДВР и Чита, в частности, в культурном отношении, переставая быть глухими задворками России, приобретают самостоятельное значение...»

Заканчивалась декларация словами:

«Постоянная эстетическая трибуна, ежедневное творческое взаимосоприкосновение, изучение и выявление творческих приемов и конструкций, внедрение в массы и впитывание в себя активных элементов — вот содержание основных задач, намечаемых к созданию мастерских» [1].

Все члены группы «Творчество» работали в учреждениях. Некоторые из нас, работая, учились в вузе.

Подошла зима. Студеная, ледяная сибирская зима. Не во всех домах топятся печи. Не всегда люди имеют горячую пищу. Работают много. Отдыхают мало. Но люди хотят учиться. Нужно учиться.

И вот появляется Государственный институт народного образования в г. Чите — высшее учебное заведение со всеми правами и преимуществами настоящего вуза.

Всегда буду помнить дорогого учителя, профессора

---

[1] Выдержки из декларации печатаются с большими сокращениями.

Марка Константиновича Азадовского — литературоведа, фольклориста, этнографа, вводившего нас, студентов, в тайны методологии литературоведения. Профессор Азадовский обладал огромной суммой знаний. Этот благороднейший человек весь принадлежал науке, любя искусство, книги и людей.

В январе 1922 года при институте по инициативе Марка Константиновича Азадовского был организован Историко-литературный кружок, объединивший 80 членов кружка: студентов, профессоров, журналистов и художников города. В августе того же года появился сборник кружка «Кам́ены» в 115 страниц, в серой обложке из оберточной бумаги, отпечатанный в типографии ВоенПУРа. В сборнике рядом с трудами профессоров и студентов — работы членов группы «Творчество», с которой у кружка была тесная связь.

Асеев, всеми корнями своего творчества сросшийся с фольклором, не мог оставаться равнодушным к возникновению в Чите Историко-литературного кружка, руководимого фольклористом Азадовским. Поэт и ученый познакомились, заинтересовались друг другом, стали вместе работать.

Асеев запросто, по-домашнему приходил в институт. Иногда ему хотелось послушать лекции, а то и заглянуть на семинар. Гостя всегда охотно принимали.

Асеев часто говорил с нами о назначении поэта, о задачах поэзии, о словотворчестве.

Говоря об образе, он сформулировал определение его так: «Образ есть развитие имени в представлении». Тогда же, в 1922 году, он говорил о метафоричности слов.

В ту зиму и в ИНО и на кружке было много докладов о современных поэтах, о сибирских поэтах, о классиках, о форме и содержании и т. д.

На вечере памяти Александра Блока с докладами

профессора Азадовского и В. А. Малаховского члены группы «Творчество» читали Блока.

В кружке делались сообщения о новых литературных сборниках. На одном из заседаний кружка разбиралась и «Бомба» Асеева.

* * *

Часто в нерабочей обстановке Асеев рассказывал нам сказки о Бове-королевиче, о невесте Дружевне, о Кощее, о Бабе-яге. Иногда певал он и частушки, скандировал заклинания.

Как раз в то время я штудировала работу Александра Блока «Поэзия заговоров и заклинаний». В ней Блок, углубляясь в историю языка старины народной, изучив массу работ наших крупнейших ученых, исследует язык сказок и легенд, поверий и заклинаний. Он много говорит о ритме, о поэтической форме текстов народного творчества.

Я показала Асееву эту статью. Асеев очень любил Блока [1], очень заинтересовался этой статьей и отрывком о заклинаниях «для отогнания русалок», где есть заповедные непонятные слова:

Ау, ау, шихарда кавда!
Шивда, вноза, митта, миногам,
Каланди, инди, якутама биташ,
Окутоми ми нуффан, зидима...

Николаю Николаевичу наше исполнение этих строк не понравилось. Он взялся показать, как надо произносить заклинание. Гипнотически глядя на нас, в каком-то особенном синкопическом ритме он то напевал, то нашептывал эти загадочные лесные слова,— и был он

---

[1] О Блоке Асеевым написаны две статьи: «Несгораемый костер» — в 1921 году и «Памяти Блока» — в 1946 году.

тогда кудесником, и знахарем, и Паном, и заклинателем... Артистом Асеев был вне всякого сомнения.

Бей, дзвоне, бей,
хмару разбей!

Как все это перекликается с песнями русалок Хлебникова из его «Ночи в Галиции»:

«Русалки (держат в руке учебник Сахарова и поют по нему):

Между вишен и черешен
Наш мелькает образ грешен,
Иногда глаза проколет
Нам рыбачья острога,
А ручей несет и холит
И несет сквозь берега.
. . . .
Ио, иа, цолк,
Ио, иа, цолк,
Пиц, пац, пацу,
Ио иа цолк, ио иа цолк,
Копоцамо, миногамо пинцо, пинцо, пинцо!».

Асеев рассказывал нам о Хлебникове. Читал «Ладомира», «Смехачей», «Вилу и лешего» и многие другие вещи. Асеев первый показал нам глубину поэтической мысли Хлебникова. И все мы повторяли на ходу:

«Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты».

И впоследствии Асеев долго и горячо увлекался Хлебниковым. И остался предан ему на всю жизнь. Но все-таки, несмотря на пристрастие к Хлебникову и к Маяковскому, Асеев больше всех поэтов любил Пушкина и Блока,— это стало совершенно ясно. Из русских прозаиков дороже всех для него были Достоевский и Гоголь.

Верил Асеев в силу русского слова. Очень любил он русскую сказку. И русскую песню. И пословицы русские.

Звучит озорной, звонкий голос Асеева. Нам, почти еще детям, рассказывает он про «Алатырь — белый горючий чудотворный камень, светлый, синий, серебряный, что светится в стране вечного лета... Лежит он на море-Окияне, на острове Буяне...»

В то время Асеев очень увлекался «Словом о полку Игореве». Неудачный поход Новгород-Северского князя Игоря на половцев, подробно описанный в летописях, привлекал Асеева красотами языка и художественными описаниями природы. Целыми кусками читал он нам «Слово», выделяя особенно сильные места. Асеев очень ценил высокую поэтичность «Слова о полку Игореве», обращая наше внимание на живость языка, оригинальность его, народность.

Мне всегда казалось, что Николай Николаевич особенно пленен был выражением *патриотизма* автора «Слова», писавшего картины природы мрачной кистью — в соответствии с неудачами этого похода.

Еще тогда Асеев говорил о ритме, о «дыхании» автора, заставляющего управлять ритмом и размером поэтической строки. Понятие *вдохновение* он соединял с понятием *дыхание*, так как, по его мнению, глубокое дыхание бывает у человека взволнованного, охваченного сильным переживанием. Конечно, он имел в виду поэтическое вдохновение.

Через много лет, в конце жизни, в книге «Зачем и кому нужна поэзия?» Асеев напишет:

«У кого мы учились? У кого учился, в частности, я?

Прежде всего у пословиц и поговорок, у присловий и присказок, что бытуют в речи народной. Потом у книг, подобных «Мысли и языку» Потебни — великой книге о языке и его устройстве. Затем у летописей и старорусских сказаний, у «Жития» протопопа Аввакума. Еще у «Слова о полку Игореве», прельщающего своей силой речевого размаха. И все это перечисленное, но не исчерпанное в дневниковой записи, помогало любить сло-

во. А Кирша Данилов с его удивительными уроками языка, показом силы и необычности воздействия слова!»[1] «...«Слово о полку Игореве» — живой образец вдохновенной речи певца. Да и не один он встречается в старинных изборниках и повестях. Об этом прекрасно написано в книге Д. Лихачева «Русские летописи»[2].

Пораженный открытиями Пушкина в искусстве стихотворства, Асеев говорит:

«Высота вдохновения, оказывается, неотделима от живой речи народа, всегда объединяющего дыхание с мелодикой, смысл со звучанием, чувство с мыслью и никогда не отделяющего одно от другого. Вопрос только в том, в какой мере, в каком соотношении стоят эти составляющие обаяние живой речи компоненты»[3].

Как прозорлив, как дальновиден был А. В. Луначарский; еще в 1923 году, вскоре после опубликования асеевского сборника «Совет ветров», оценив Асеева как крупнейшего поэта нашего времени, он пишет ему письмо:

Тов. Асееву.

Дорогой товарищ.

Я с величайшим восхищением прочел Ваш сборник «Совет ветров». Пусть сердятся на меня «маяковцы» и Маяковский, а, если угодно, то и другие поэты, которых я сейчас хочу принести Вам в жертву, но я определенно заявляю: за последние пять лет я ни одного подобного сборника не читал. Я был счастлив, когда мне удавалось в каком-нибудь сборнике выискать для себя двадцать процентов приемлемых или хороших стихов. У Вас же во всем сборнике есть только три стихотво-

---

[1] Н. Асеев. Собрание сочинений в пяти томах, т. 5. М., «Художественная литература», 1964, стр. 390.

[2] Там же, стр. 403.

[3] Там же, стр. 463.

рения, которые мне не нравятся, из них два просто кажутся мне неудачными, это «Стачка» и вторая часть стихотворения «Война», где особенно не нравится мне последнее четверостишие. Третье же стихотворение «Стальной соловей» написано прекрасно, но на меня производит тягостное впечатление. В нем, правда, по существу говоря, Вы на чуткое ухо признаетесь в этой тягости. Вам кажется, что кто-то действительно велел Вам воспевать «махинище», что Вам захотелось надеть на себя «ярмо», что у Вас как-то и внутренне и внешне уж такая доля — стать стальным соловьем. Мидас все превращал в золото и от этого умер с голоду, а нынешний капитал, именно капитал, а не человечество, все превращает в сталь, и, в сущности говоря, ярко рассказав о том, как Вас распилили пополам, вонзили в Вас лом и привели к (Брикам и т. п.), потом стараетесь, ...и начинаете, так сказать, ругать нас, бедных, которые все-таки считают ветку поэтичнее проволоки, заявляете, что Вы нас оглушите Вашей трелью, которая (никак не могу отказаться от этой мысли) все время представляется мне аналогичной полицейскому свистку, впрочем, вдохновенно описанному Пастернаком в известном Вам стихотворении.

Я все же по-андерсеновски думаю, что соловей лучше.

Но бог с ними, с соловьями, поговорим лучше о поэтах и прежде всего о самом, по моему мнению, крупном, которого мы сейчас в России имеем, о Вас. Вас еще не ожелезили, так сказать, и в Вас бьется настоящее сердце. Но ради всего святого, не давайте себя втянуть ни в какую гастевщину, ни в какую бриковщину, ни даже в маяковщину. Если у Вас есть стихотворения, несколько похожие, например, хотя бы стихотворение, посвященное радио, то это же как раз то, где указывается влияние Маяковского. Лучше же всего Вы там, где Вы в целом и до конца Асеев, например, в «Тайге» — стихо-

творение, которое я считаю образцовым, действительно потрясающим.

Между прочим, я, кажется, говорил Вам, что мне очень понравились некоторые стихи Третьякова. Сейчас, например, мне кажется, хотя, подумавши, может быть и изменю свое мнение, что можно отметить только два стихотворения, которые я прочел за все последнее время, это Ваша «Тайга» и «Матерный рыд» Третьякова. Только разница между новым Вашим сборником и Третьякова заключается в том, что у него все-таки огромное большинство стихотворений заштукатурено, так что выбрать пришлось из всего сборника опять-таки процентов двадцать, а у Вас в новом сборнике в огромном большинстве преобладание абсолютно удовлетворявших меня, иногда восхищающих, а иногда, в одном или двух случаях, потрясших стихотворений.

Этого я не могу сказать про Ваш сборник «Стальной соловей». Я нашел там много великолепных строчек и строф, но ни одного стихотворения, которое удовлетворило бы меня целиком. Так что, как видите, я тоже стою на той же точке зрения, что «Совет ветров» Ваш первый настоящий сборник, и от всей души желаю, чтоб за ним последовал и другой, если можно, еще искреннее, живее, еще современнее и вместе с тем поэтичнее, без всякой боязни поэтичности и дальше от всякой механизации, как бы ни распевали о ней и как бы ни приглашали к ней люди, которые, сами того не подозревая, ведут гнуснейшую пропаганду капиталистической мертвечины против мира, который хочет воскреснуть и стать не рабом машины.

Крепко жму Вашу руку [1].

---

[1] Письмо без даты. ЦГАЛИ, фонд № 28, опись № 1, ед. хр. № 24. Печатается с небольшими сокращениями.

Верь! Поэтово слово не сгинет.
Он с тобой — тот же загнанный зверь.
Той же служит единой богине
бесконечных побед и потерь!

Работая в ДАЛЬТА, Асеев был тесно связан с газетами. Их было две: правительственная — «Дальневосточный телеграф» и «Дальневосточный путь» — орган Дальбюро ЦК РКП(б) Асеев часто публиковал в них свои фельетоны и стихи; реже — прозу, статьи. Все «Творчество» тоже было причастно к работе в газетах. Наши встречи в редакции были всегда очень оживленными, светлыми, дружескими.

Очень примечателен небольшой сборник статей «Неравнодушные строчки», где собранные Чужаком статьи, стихи и заметки, его и других товарищей, гневно рассказывают о страшных злодеяниях, происшедших во время вступления японских интервентов 4—5 апреля 1920 года в Приморье. Сборник издавался дважды: в 1921 году в Чите и 1931 году в Москве. В нем рассказывается о гибели героев-мучеников: о Лазо, о Сибирцеве, Луцком, Цейтлине, Уткине, Гражданском, Когоде.

Работать у Чужака в газете было интересно. К нам, тогда еще неоперившимся, начинающим журналистам, он был чуток и требователен. Его трудоспособность была огромна. Было впечатление, что он жил в редакции. Если случалось поздно вечером или ночью проходить мимо дома, где помещалась редакция, освещенное окно кабинета Чужака говорило, что редактор не спит.

Впервые в жизни именно от него я услышала о том, что литература должна быть партийной. Это почти совпадало с тем, что мне с детства приходилось слышать от моего отца, революционера, учителя, внушавшего своим ученикам мысль о воспитательно-революционной роли литературы.

Выдавая уезжавшим сотрудникам удостоверение о

работе, Чужак, как правило, указывал отношение сотрудника к партии, даже если тот и был беспартийный. Такое удостоверение сохранилось и у меня.

У группы «Творчество» был свой клуб. Две комнаты, аскетически обставленные: столы, стулья да рояль. На стенах плакаты, картины. Небольшие подмостки.

Долго мы не могли придумать имя нашему детищу. Наконец назвали его «Искусстварь», соединив в одно два слова: «искусство» и «творить». Завели бланки с виньеткой работы художника Пальмова. На штампе — пышная надпись: «Дальневосточные Мастерские Искусствостроения. Совет Мастерских».

Был уже нэп, объявленный X съездом партии. «Искусстварь» наряду с духовной пищей «выдавал» бутерброды и горячий чай с сахаром. В клубе было тепло и светло. Он был открыт для всех. Здесь происходили диспуты и доклады, чтение стихов.

Группа «Творчество» дружила с Государственным институтом народного образования. Добрососедствовала с музыкальным училищем, переименованным тогда в консерваторию. Держала связь с театром. Два оазиса было в Чите: группа «Творчество» с клубом, с газетами, в которых работали все члены группы, и Институт народного образования с литкружком, возглавляемым профессором М. К. Азадовским.

Асеев был в переписке с Маяковским. Послал ему фотографию нашей группы. И вот однажды пришел ответ от Маяковского о его желании приехать в Читу. Все мы забушевали от радости, от ожидания встречи. Но он не приехал. И мы еще горячее стали рваться в Москву.

Когда предполагались большие сборища, наши выступления переносились в здание Народного собрания, и огромный зал всегда был переполнен.

По просьбе рабочих выезжали мы и в железнодо-

рожные мастерские. В сорокаградусный мороз ехали туда на грузовых машинах. В теплом помещении нас ожидали рабочие-железнодорожники. Были они очень гостеприимны. Но не обходилось и без жарких споров. Уж очень хотелось им дойти до самой сути, до правильного понимания Маяковского: что он за человек? Да как принял революцию? Как относится к рабочему классу? После всех объяснений и споров, после исполнения нами стихов Маяковского рабочие почти всегда принимали и понимали стихи поэта.

Мы читали и «Облако», и «Человека», и «Флейту-позвоночник», и куски из «150 миллионов», и мелкие произведения — да почти все, к тому времени написанное им.

Асеев читал особенно: закинув голову, он словно всматривался в вышину,— он весь летел вверх, читая стихи. Глаза его светлые становились еще светлее, и сам он казался невесомым, весь растворяясь в стихах, словно был он слит воедино с ними и не мог от них оторваться. И передавал слушателям это очарование, всем существом своим, всем своим голосом, залетая вверх, выделяя сильные места...

* * *

При группе «Творчество» организовалось небольшое издательство с забавным названием «Птач». Может быть, это уменьшительное от слова «птица»? Нет, гораздо проще: были взяты первые буквы фамилий Пальмова, Третьякова, Асеева и Чужака.

«Птач» издал: сборник стихов Третьякова «Ясныш», сборники статей по литературе и искусству: «Сибирский мотив в поэзии» (в него кроме четырех статей Чужака вошла статья Асеева «Сибирская бась»—о поэме Третьякова «Путевка». Затем эта «Путевка» и стихотворение Д. Бурлюка «Сибирь»). Еще были изданы сборники ста-

тей Чужака: «К диалектике искусства», «На больные темы» (заметки о быте, о культуре, о мещанстве).

Но разве можно было обойтись без сатирического журнала? Стали издавать «Дуболом» с иллюстрациями Пальмова и Аветова. Вышло, кажется, шесть или семь номеров этого журнала. Честно сказать, журнал был не из блестящих: ведь прирожденных сатириков и юмористов у нас не было. Журнальчик был слабоват, но польза от него все же была,— надо учесть всю обстановку и время нашей работы, а главное, каковы были наши задачи. «Стихотворные фельетоны и агитки поэтов «Творчества» были своего рода уроками политграмоты для масс. Они разъясняли рабочим, крестьянам, солдатам политику большевистской партии, агитировали за нее на выборах в народное собрание в ДВР» (Чужак).

Фельетоны Асеева шли под псевдонимом «Бюль-Бюль»; иногда этот псевдоним объединял работу с С. Третьяковым, у которого был и свой псевдоним «Жень-шень». Был еще и псевдоним «Древообделочник»,— под этим псевдонимом писали коллективно Асеев, Незнамов и Третьяков.

Досуг проводили большей частью все вместе — единой семьей. Когда не было выступлений, все отправлялись «на природу», в бор, где под сенью высоченных рыжих сосен и темно-зеленых кедров умолкали все наши литературные споры, прекращались всякие остроты и подшучивания.

И вот здесь-то очень интересно было видеть, как Асеев, услыхав щебет какой-нибудь птахи, настораживался, прислушивался, глаза его теплели, и весь он озарялся счастливой, застенчивой улыбкой. Нельзя сказать, что Асеев стыдился своего нежного отношения к лесным певцам, нет, но, как это бывает у людей, охваченных сокровенным чувством, Николай Николаевич при этом уходил в себя, отключался, стараясь сдерживать свой восторг, ни с кем его не разделяя.

Тогда, в Чите, мне стало понятно, почему Асеев избрал себе псевдонимы «Малка-иволга» и «Бюль-Бюль»,— очень он любил птиц! На страницах всех его книг пернатые его друзья — чайки, скворцы, синицы, дрозды, лебеди, соловьи, сойки, коноплянки, щеглы, снегири, ласточки — поют на все голоса. Очевидно, эти щебечущие пушистые комочки были необходимы поэту — как одухотворенные существа, как собратья, как участники его раздумий. Недаром он призывал птиц в минуты вдохновенных порывов, когда слагались стихи. И птицы охотно залетали в строчки его стихов, чувствуя себя там вполне на месте... И оставались там навсегда.

Через много лет мне захотелось проверить свои наблюдения точнее. С карандашом в руке я прошлась по всем томам Асеева. Там я нашла уйму примеров, подтверждающих вышесказанное. Даже в «Ладе», в последней книге поэта, со страницы на страницу перепархивают птицы. «И Россия с Москвы начиналась, как клекот лебяжий — с птенца». И «Вот опять соловей со своей стародавнею песнею... инвалид... песне тысяча лет, ао нова́: будто только что полночью сложена; от нее и луна, и трава, и деревья стоят завороженно... Вот каков этот старый певец, заклинающий звездною клятвою...» Ах, как сочувствует ему поэт! Да ведь оба они — одной породы: певческой!

У кого не дрогнуло сердце при виде снегирей с Подкрапивенской улицы, «на головках бобровые шапочки»... Не мог Асеев без птиц! И «птичий флот», и «летучие стаи», и «содружество ласточек» были ему необходимы.

В Чите мы собирались у Виктора Никандровича Пальмова — художника группы «Творчество». Он жил при школе, где директорствовал, преподавая рисование и живопись. В этой же квартире жили и Третьяковы.

Между шуткой и каламбуром разрабатывались теоретические положения о новом искусстве. Читались и штудировались книги «опоязовцев». Каждая работа Виктора Шкловского, Юрия Тынянова, Бориса Эйхенбаума и других проглатывалась с жадностью, давая новый заряд на нескончаемые разговоры и споры о теории поэтического языка.

Впоследствии некоторые члены группы «Творчество» и товарищи из «Опояза» объединились в «ЛЕФе», журнале, редактируемом Маяковским.

В. Б. Шкловский высоко ценил поэтический дар Н. Н. Асеева, всегда и везде отмечая это.

Вдохновительница поэта, друг всей жизни — Ксения Михайловна Асеева (Синякова), та, которая «всему была заказчица, что в душе отозвалось», тогда была юная золотоволосая музыкантша, любительница стихов, и всюду появлялась с Николаем Николаевичем Асеевым.

Мне сразу понравились ее эмалевые глаза, тоненькая фигурка, высокие каблуки. Ксения Михайловна заметила это, стала меня «опекать»: учила вышивать шелком, варить суп на бесшумном примусе здесь же, в гостинице «Централь», общежитии Наркоминдела, где мы жили. Нас очень сблизила любовь к музыке. Я в то время, попутно с литературной работой и занятиями в институте, много времени отдавала бетховенским сонатам. Оксана часто приходила ко мне, играла на рояле, взятом напрокат. Играли мы с ней и в четыре руки.

Новый, 1922 год встречали у Пальмова. Играли в шарады, в буриме. Потом, взявшись за руки, плясали вокруг елки и пели: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет». Веселились «до упаду», пока Асеев не разбил любимый стакан Третьякова — подарок подруги детства Беллы Зорич (впоследствии сценарист-

ки кино). Третьяков помрачнел и ушел к себе, плотно прикрыв дверь. Все затихли и присмирели. А Танюша Третьякова внушительно сказала:

У Сережи Третьякова
очень нервы нездоровы.

Всех нас объединяла общая агитационная, а некоторых — исследовательская работа.

Одним из первых по приглашению Луначарского 28 января 1922 года уехал Асеев с женой в большом служебном вагоне, вместе с сотрудниками Мининдела и Дальбюро — всего шесть человек.

Письма Асеева из Москвы были светлыми, зовущими. Николай Николаевич прислал мне своего «Стального соловья» и поэму Маяковского «Люблю».

Одно из писем Н. Асеева группе «Творчество» в некоторых выдержках было напечатано в «Дальневосточном телеграфе» (№ 237) 25 мая 1922 года.

«Все, начиная от внешнего вида Москвы до внешнего вида Брюсова, отмечено бешеным бегом времени. И приучить мысль и глаз к этому сдвигу все равно, что переболеть тифом. И правда, температура у меня все время повышенная. А главное, то видимое общее доброжелательство, которое встретил здесь вместо ожидаемого холодка и «занятого места».

Все газеты и журналы открыты, везде есть друзья — и в «Известиях», и в «Печати и Революции», и в «Красной Нови». Литовский, Полонский, Воронский и немало других видных деятелей московской прессы самым радушным образом встречают каждую, весьма несовершенную и наспех сделанную строку. Мы работаем с Маяковским и в Главполитпросвете и в Реввоенсовете совместно.

Единственно живым литературным местом является все же наше место. Среди нэпа, который, кстати сказать, начали уже немножко выдавливать, среди лите-

ратурного мусора, засорившего Москву,— футуристы выдерживают еще одно испытание — всеобщего признания и полной возможности работать. И работают много.

Пастернак выпускает «Сестру мою жизнь», 2-е издание «Близнеца в тучах» и «Поверх барьеров». Хлебников написал уйму нового. Маяковский кроме «Люблю» — «IV Интернационал» и много мелких, но острых вещей сатирического характера.

Из литературных событий сенсационна «Исповедь Ставрогина» Достоевского (найденная в архиве Д.); интересны книги о Блоке.

Но все эти литсобытия покрывает, конечно, похвала Ленина Маяковскому (Ленин на съезде металлистов иллюстрировал свои положения цитатой из Маяковского, высоко оценив ее политико-агитационное достоинство), напечатанная и вам уже наверное известная...

Ну, вот вам казовые стороны нашего бытия. А сероватые — это то, что надежды мои на пролетпоэтов лопнули целиком: они подпали под влияние Белого и занимаются... антропософией, даже до жалости. Не дошли бы так до протеста против изъятия ценностей, чего доброго! Из них талантливейший — Казин, бывает у меня, но ни до чего мы не договариваемся, только жалобно смотрим друг на друга...

Я выпустил сборник «Стальной соловей» в издании МАФ — Московской ассоциации футуристов. Осмотревшись, выпускаю книжку — соединив «Бомбу» и «Стального соловья». Кроме того, имею предложение А. В. Луначарского выпустить книгу: думаю слить в один том все, начиная с «Оксаны». Печатаю в «Известиях» дальневосточные очерки. Проза здесь очень нужна и ее требуют нарасхват. МАФ действительно может разрастись в большое дело.

Бываем мы почти ежедневно у Бриков. Там сходится

много народу, по вторникам работает ИНХУК (Институт художественной культуры). Еще хорошее место в Москве — «Дом Печати». Там работает театральная мастерская Форрегера — самый младший и самый живой театральный вундеркинд Москвы. Послезавтра идем по приглашению в Театр Актера — Мейерхольда.

Имажинисты в загоне. Их не слышно и не видно: очевидно, сильны были только подтравливанием футуризма...

Москва ничуть не изменилась — те же магазины, те же ряды, те же театры, что и при моем отъезде. Даже досадно. Но психологически — конечно, встряска чувствуется, даже в самом захудалом спекулянте.

Привет Чужаку. Видел и разгадал по схожеству в Госиздате его брата. Он заведует детской литературой. По-моему, приехав, он бы здесь занял очень и очень весомое место в печати. Его здесь ценят и побаиваются.

Еще что? Не пишу для читинских газет ничего, потому что едва хватает времени для московских.

Участвую в «Известиях», «Рабочем», «Гудке», «Политработнике», «Красноармейце» — это кроме журналов. Читал доклад в «Доме Печати», в «Союзе Поэтов», выступал в «Цекиспросе», «Кузнице» и невесть какое число раз.

«Майская песня» Асеева и «Майский Гимн» Третьякова напечатаны в «Красноармейце» в первом номере.

Вчера... был «торжественный» прием Наркома. Были: Рощин, Хлебников, Пастернак, Крученых, Каменский, Рита Райт, Кушнер и весь Комфут. Нападали на Луначарского все; он только откусывался. Спор шел в плоскости теперешней работы футуристов: современное, дескать, в них забивает «вечное». Этим «вечным» заторкали Анатолия Васильевича все. В кон-

це спора Луначарский признал, что в «этой комнате сейчас собрано все наиболее яркое и певучее нашего поколения».

* * *

Наш отъезд состоялся лишь в августе того же года. Погрузились в вагон вместе с Незнамовым, Пальмовыми и Третьяковыми.

Итак, сбылось. Поезд мчался на запад. Огибал прозрачный Байкал. Он разрезал высоченные скалы, врывался в кромешную тьму чадных туннелей и, грохоча железом мостов над многоводными сибирскими реками, словно радуясь разлуке с ними, звонко раздаривал прощальные гудки ущельям на память. Хороший, милый сибирский поезд — «читинский скорый» — он увозил нас в страну обетованную — в Москву, далекую, неизвестно что сулящую нам Москву.

Так вот она — Белокаменная! Жить было негде. Асеевы предложили мне с мужем остановиться у них.

Все приехавшие отправились с вещами на извозчиках по домам, а мне захотелось пройтись пешком по московским улицам с Оксаной и Бриком, тем более, как выяснилось, идти было недалеко. Асеевы жили на Мясницкой улице (теперь ул. Кирова), напротив Почтамта. Место это с тех пор и посейчас для меня какое-то очень свое, «домашнее» и даже уютное.

Помню темноватый двор Вхутемаса и железную винтовую бесконечную лестницу, по которой мы долго поднимались к Асеевым на девятый этаж.

> Ты б зашел за вешний подоконник
> на моем девятом этаже...—

здесь писал поэт Гастеву.

Асеевы жили в колоссальной комнате вместе с Верочкой, одной из сестер Синяковых, впоследствии ставшей женой писателя Гехта. Все называли ее «Гоген» — за лицо, очень похожее на лица таитянок с полотен художника.

В комнате Асеевых, огромной, почти пустой, будто два производственных станка в мастерской, стояли рояль и письменный стол, заваленный бумагами и книгами. Стол, косо поставленный, отгораживал угол комнаты, где мы и прожили незабываемые три недели. У Асеевых бывало много писателей, художников, музыкантов. С некоторыми из них я потом была связана многолетней дружбой.

В день нашего приезда в Москву Асеев пригласил всех приехавших в кино, сказав, что нас там ожидает сюрприз. Мы согласились, хотя после долгого путешествия все устали и идти в кино никому не хотелось. Не помню, какой шел фильм; нас это мало интересовало, но каково было наше удивление и радость, когда у входа в кино мы увидели Маяковского! Это был он — живой, настоящий! Такой большой и широкий, такой ласковый, совсем простой. Он был как-то особенно нежно-снисходителен, остроумен, знакомясь с нами. Глаза его согревали, словно говорили: «Не надо меня бояться, я добрый».

Все было неправдоподобно. Не верилось, что мечта сбылась, что он здесь, неприснившийся — с нами.

Перед началом сеанса, когда погасили свет, Маяковский и Асеев, сидевшие поодаль друг от друга, из озорства стали громко перебрасываться репликами и остротами. И никто из публики не пытался их остановить, не сердился, не шикал,— вероятно, и тем чужим людям было интересно послушать веселящихся поэтов. Картина была плохая, мы ее не досмотрели и по приглашению Маяковского отправились на Водопьяный, в

квартиру Бриков, где потом бывали почти ежевечерне...

Живя у Асеевых, мы стали искать квартиру. Но снять комнату в Москве в то время было просто невозможно. Недели на три мы переехали в Кусково, на дачу к знакомым, оставившим ее нам до истечения срока найма.

А потом на помощь пришел Владимир Владимирович Маяковский. Он был удивительно отзывчив. Узнав о нашей неустроенности, он очень деликатно, запросто предложил нам поселиться в комнате на Водопьяном «до приезда Лили Юрьевны», в то время находившейся в Берлине. Предложение было заманчивое. Разве можно не принять его! Шла зима. Ноябрь. Деваться было некуда. Переехали в Водопьяный.

Вскоре Маяковский уехал за границу. Прощаясь, он сказал, что о приезде Лили Юрьевны будет известно за несколько дней, и тогда нужно будет комнату освободить.

Недели через две после этого пришел Лев Александрович Гринкруг [1], сказал о скором приезде Лили Юрьевны.

И вдруг! На другой же день пошло как в сказке, с фантастической быстротой. Буквально с неба свалилась и работа, и комната на Арбате, хотя и без отопления, совсем пустая, окна забиты фанерой, но зато — о радость! — посредине комнаты стоял прекраснейший рояль, и его, оказывается, можно оставить у себя «для личного пользования» .

В эту комнату потом запросто приходили и Маяковский, и Асеев, и Пастернак, и Эйзенштейн, и многие другие прекрасные, талантливые люди.

В ноябре Асеев предложил мне собрать стихи для издания сборника в издательстве, где он тогда работал.

---

[1] Друг Бриков.

Я собрала стихи, дав сборнику имя «Петроль» — Петр (овская) Оль(га). Вообще-то слово Петроль попахивало бензином... Но, очевидно, молодости многое позволено, меня это ничуть не смущало. Название я не изменила. Книжицу показали Луначарскому. У меня сохранилась рукопись сборника с обложкой, на которой Луначарский написал приятный мне отзыв. Здесь же и Асеев отозвался добрыми словами. Асеев сказал, что скоро книжку сдадут в набор.

А через несколько дней Асеев, очень стесняясь, смущенно сказал мне, что у Петра Незнамова очень плохи материальные дела, что ему надо помочь: вот и у него книга стихов на очереди, а два сборника поэтов группы «Творчество» одновременно издать трудно; что мою книжку придется отложить, тем более что я в то время уже имела постоянную работу, а Петя Незнамов бедствовал.

Конечно, я была рада хотя бы косвенно помочь Пете и согласилась подождать. А потом пошли дела неотложные: поступление в Брюсовский институт, тяжелая болезнь, появление ребенка и многое, многое другое, когда бывает не до себя, не до печатания стихов.

Интересно, как понимал Асеев свое место и назначение в истории литературы.

В 1924 году Маяковский опубликовал свое «Юбилейное». В этом стихотворении, как известно, автор дружески беседует с Пушкиным. Необычайное, яркое произведение Маяковского было горячо принято всеми и возбуждало массу споров. Сразу полюбив его, мы уже не могли обходится без того, чтобы не ввернуть «к случаю» цитаты из «Юбилейного»:

«В небе вон луна такая молодая, что ее без спутника и выпускать рискованно».

Вот
    когда
        и горевать не в состоянии —
это,
    Александр Сергеевич,
        много тяжелей...
Но поэзия —
        пресволочнейшая штуковина:
существует —
        и ни в зуб ногой.

Иногда целыми кусками или отдельными строфами все мы в быту, на ходу, на работе цитировали «Юбилейное». Но вот обращение Маяковского к Пушкину: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на эМ» — дразнило своей смелостью. Некоторые называли это дерзостью, и многие не хотели принять эту строку.

Однажды вечером, когда Асеев зашел к нам, завязался разговор и об этом. Николай Николаевич сказал, что по прямой ассоциации, если уж идти по пути сравнений и определений места поэта в истории, то лично он, Асеев, был бы вполне счастлив, если бы его роль в литературе определилась по качеству, по значению и по занимаемому месту — наравне с поэзией Баратынского. И если б это в действительности так и оказалось, то он был бы очень рад. «Мне большего и не надо»,— с улыбкой добавил Николай Николаевич, смущенно потирая руки. Очень запомнился он мне тогда — взволнованный и светлый, стыдящийся своей откровенности.

Во всяком случае, Асеева эта мысль, по-видимому, очень занимала. Она не покидала его и потом. А через много, много лет после нашего разговора это высказывание Асеева появилось уже оформленным его стихами в сборнике «Лад», в стихотворении «Посещение»:

Талантливые, добрые ребята
пришли ко мне по дружеским делам;
три — не родных, но задушевных брата,
деливших хлеб и радость пополам.

Обручены единою судьбою,
они считали общим свой успех,
но каждый быть хотел самим собою,
чтоб заслужить признание для всех!

Они расселись в креслах, словно дети,
игравшие во взрослую игру:
им было самым важным — стать на свете
собратьями великих по перу.

Дыханье, дух, душа — одно ли это?
И что же их роднит в конце концов?
Передо мной сидели три поэта,
желающих продолжить путь отцов.

Вот — Грибоедов, Тютчев, вот — Державин.
А мне? Нельзя ли Баратынским стать?
Был этот час торжественен и славен,
оправленный в достоинство и стать...

И я, традиций убежденный неслух,
поверил, что от этих будет толк.
Три ангела в моих сидели креслах,
оставивши в прихожей крыльев шелк.

Кто же эти три ангела? Ответ на этот вопрос дает Лев Озеров. Он вспоминает в письме ко мне:

«...К Вашей главке «Асеев — Баратынский» у меня есть добавление-разъяснение.

После того как Николаю Николаевичу исполнилось 70, из Союза писателей все время звонили — просили взять адрес-приветствие, потом сами вызвались привезти его. Но Николай Николаевич, иронически относившийся к юбилейным адресам, отказывался от гостей и от самой процедуры вручения.

Наконец был найден выход: Л. Мартынов, Б. Слуцкий и Л. Озеров, взяв в СП адрес, собрались у Телеграфа и, позвонив Н. Н., получили его разрешение явиться немедленно. Вот мы трое и явились. Сперва говорили о том о сем. Притихший Мартынов с адресом в руках вышел на середину большой комнаты (той, где рояль).

Он что-то произнес, а Н. Н. очень громко и обрадованно сказал:

— Ну вот, Оксана, теперь у нас будет удобная папка для того, чтобы хранить в ней жировки и счета.

Слуцкий прочитал несколько фраз приветствия.

Потом вышел я и понял, что дальше произносить речи смешно.

Болящий дух врачует песнопенье...

Эту строку из Баратынского кто-то из нас вспомнил и спросил:

— Так кто кого врачует?

— Дух — песнопенье, песнопенье — дух?.. Это и хорошо, что неясно, кто кого врачует,— отвечал другой.

Мы долго в этот вечер беседовали — поочередно во всех трех комнатах квартиры. Николай Николаевич был необычайно воодушевлен и обрадован. Конечно же — разговором, стихами, дружелюбием. Было прочитано всеми много стихов.

Через день-два Н. Н. позвонил мне и просил приехать. Я приехал и услышал стихотворение «Посещение».

«Три ангела», сидевшие в асеевских креслах, как это ни странно и смешно, это вышеназванные пииты».

У Николая Асеева, человека смелого, азартного, порой колючего, иронического, было очень много детского. Он, как ребенок, мог весело радоваться неожиданному «подарку» или хорошей шутке. Любил «розыгрыши», но мягкие, добродушные, без издевательства.

Когда Асеевы построили дачу на Николиной горе (и название-то подходящее — к имени!), Николай Никола-

евич очень повеселел, стал лучше выглядеть, бодрился, благодарил Оксану,— ведь это она приложила массу трудов к постройке дачи; она вела все разговоры с рабочими, не ленилась ездить по всяким адресам строительных контор, стараясь избавить «Колядку» от разных утомительных хлопот. И болезнь тогда отступила; поэтому стало легче. И какие веселые домашние куплеты сочинил Николай Николаевич:

Вот домик мы построили
превыше всех палат.
Парадное — нарядное —
а окна — прямо в сад!

И там гуляет Кутечка [1],
как лиска меж елей,
бесценная малюточка
всех бабочек милей.

Куда она ни глянет,
там море красоты;
куда она ни ступит,
там вырастут цветы!
Вот она какая!!..

И все это написано шутя, и все это любя, с не сходящей с лица улыбкой. Живым, подвижным, неугомонным и веселым бунтарем, а подчас и острым задирой запомнился мне Николай Николаевич. Часто бывая дома у Асеевых, я нередко присутствовала как бы в «творческой мастерской поэта», слышала, как Николай Николаевич, не замечая нас с Оксаной (усиленно и нарочно занявшихся чтением или шитьем), произносил какие-то слова, какие-то стихи, еще не сложившиеся, еще не улегшиеся в строку. Иногда Николай Николаевич ходил при этом из комнаты в комнату; голосом то тихо, то

[1] Детское прозвище Ксении Михайловны с момента рождения.

громко «мял» слова; и слова эти вскоре послушно принимали живую, указанную им, осязаемую форму, тут же, на ходу, отвергаемую самим поэтом или же принимаемую. «Принятые» стихи Асеев несколько раз повторял и *пел*, словно боясь забыть их. Вдруг замечал наше присутствие, подходил, громко произносил новорожденные стихи, а потом:

— Ну как?

Очень радовался, если хвалили; смеялся, внутренне согреваясь. Настаивал на уточнении, какие места лучше, какие хуже.

В редких случаях неудач тускнел, бросал безразлично:

— Будем пить чай. Оксаночка, что у нас вкусного к чаю?

Школа Асеева прекрасна! Она незабываема.

Моя дружба с Асеевым, возникшая в 1921 году, протянулась на долгие годы. А когда не стало Николая Николаевича, она призвала Ксению Михайловну и меня к общей работе над архивом поэта.

Асеев разбрасывал свои заметки повсюду, в самых неожиданных местах. Кое-что из этих записей Ксении Михайловне удавалось еще при жизни мужа прятать в заветный чемодан, откуда потом мы с ней извлекали эти записи для расшифровки асеевского почерка, с виду ясного и понятного, но порой очень неразборчивого. Интересно было сидеть над асеевскими стихотворными ребусами, страдая и мучаясь, разгадывая слова.

Мы, как рабочие в шахте, пробивали толщу архива. Пласт за пластом «отбивали породу», находили новые стихи, наброски, неразрешенные поэтические задачи — и вдруг! — видим законченную стройную поэму, никому

нигде целиком не читанную, никем никогда не слышанную!..

Случайности бывали разные. Так мы собрали для Госиздата дополнительный шестой том к пятитомнику произведений писателя.

Асеев еще полностью не изучен, несмотря на то что изучается везде. Придут новые силы, будут анализировать творчество большого русского писателя — поэта, прозаика, критика — Николая Асеева.



РЮРИК ИВНЕВ

ДВЕ ВСТРЕЧИ С НИКОЛАЕМ АСЕЕВЫМ

Никогда не забуду, какое потрясающее впечатление произвело на меня то обстоятельство, когда, лишь после смерти Льва Николаевича Толстого, я узнал, что два величайших писателя — Толстой и Достоевский — ни разу не встречались за всю свою жизнь. В траурные дни ноября 1910 года было опубликовано письмо Льва Толстого к Страхову, написанное им в день смерти Достоевского.

«Когда я узнал о смерти Достоевского, я почувствовал себя так, будто лишился опоры».

Почему я начинаю свои воспоминания о Николае Асееве именно так, а не иначе? Потому что мне кажется, что это письмо Толстого опровергает общепринятое мнение, что чем чаще те или иные писатели встречаются, тем больше и глубже они познают друг друга.

Кстати говоря, сам Асеев в своих воспоминаниях о

Есенине понял Есенина значительно глубже, чем многие, общавшиеся с Есениным долгие годы.

Первое мое знакомство с Асеевым началось с простой почтовой открытки с московским штемпелем в 1915 году, полученной мной в Петербурге. До этого встречались лишь наши стихи в сборниках издательства «Центрифуга», издававшихся Сергеем Павловичем Бобровым.

В самый волнующий период истории России (1917—1921 годы) мы находились в разных городах.

И лишь впервые в 1934 году мы встретились на берегу Каспийского моря; моря, на берегу которого долгое время жил поэт, которого и Асеев и я ценили одинаково высоко. Я имею в виду Велимира Хлебникова; правда, он жил по другую сторону Каспия, в Астрахани, мы же с Асеевым встретились в Баку.

Оба мы приехали сюда по приглашению Союза писателей Азербайджана для участия в переводах их произведений на русский язык. Асеев приехал из Москвы, а я из Тбилиси, где в то время жил постоянно.

Мы встретились как былые собратья по «Центрифуге», стоявшие теперь на единой платформе Союза писателей, организованного, как известно, в том же 1934 году.

Встреча людей, которых не связывало личное знакомство с детства и юности, никогда не может быть слишком теплой, но, как видно, не бывает правил без исключения. Асеев встретил меня как старого друга, а не только как былого соратника по «Центрифуге». Но дело было не только в температуре встречи. Дело было в самом обаянии Асеева, в том, что его манера себя держать, его взгляды, его разговоры в точности соответствовали моему представлению о благородстве, душевной теплоте, такте и человечности. Я сразу вспомнил тех замечательных людей, с которыми мне посча-

стливилось встретиться на жизненном пути: Н. К. Крупскую, А. В. Луначарского, А. М. Коллонтай, К. И. Чуковского, В. Э. Мейерхольда, исследователя Тунгусского метеорита Кулика, политкома Красной Армии Крыма Петра Лукомского, не говоря уже просто о хороших советских людях.

Я очень обрадовался, что к их числу прибавился еще один человек — поэт, стихи которого я люблю и талант которого высоко ценю.

Союз писателей Азербайджана сделал все, чтобы обставить нашу работу над переводами должными удобствами. Асееву и мне были предоставлены комфортабельные номера лучшей в ту пору бакинской гостиницы «Европа» (отель «Интурист» еще не был построен).

Первую часть дня мы работали в своих номерах, во вторую встречались с поэтами Самедом Вургуном, Расулом-Рза, Сулейманом Рустамом и Мамедом Рагимом. Секретарем Союза в то время был один из культурнейших людей Закавказья, Габриэль Васильевич Корнелли, знавший все европейские языки и в совершенстве владевший грузинским, азербайджанским и армянским. Он много способствовал тому, что подстрочные переводы поэтов были составлены безукоризненно. За это время азербайджанские поэты успели близко познакомиться и полюбить Асеева, как поэта и как человека.

Самед Вургун, с которым я общался особенно часто и знал его ближе других, не раз спрашивал меня:

«Слушай, Рюрик, объясни мне, почему у нас не все поэты такие, как Асеев. С ним говоришь и чувствуешь себя, как со старым знакомым, которого знаешь давным-давно. Ах, если бы все были такие. Я так думаю — поэт всегда должен быть прямым, честным, доброжелательным. Думать больше о народе, а не о себе...»

Один раз в минуту откровенности он спросил меня:

— Скажи, если считаешь меня своим другом, Асеев и в Москве такой или это только у нас?

— А почему в Москве он должен быть другим?

— Ну, в Москве дома, а здесь в гостях. Так уж водится, что в гостях каждый хочет показать себя с лучшей стороны.

— Как раз,— ответил я,— Асеев никогда никем не хочет казаться. Асеев — это Асеев, как, впрочем, каждый настоящий поэт.

— Ну, спасибо! Я в душе так и думал.

И мне показалось, что он облегченно вздохнул.

Иногда в свободные вечера Асеев заходил за мной и увлекал в свой номер, чтобы поиграть в карты. Подбирали еще двух партнеров, насколько помнится, играли в «джоккер».

— Во время игры в карты я отдыхаю,— признавался Асеев,— что бы там ни говорили другие.

Иногда, когда не было партнеров для игры, мы просто сидели и разговаривали. Подобно священникам, как я это читал у Лескова, не говорившим никогда в домашней беседе о религии, мы никогда не говорили о литературе. Он любил расспрашивать меня о моем детстве, родителях, о кадетском корпусе, в котором я учился, и о людях, окружавших меня в ту пору. Рассказывал он и о себе, но более скупо. Было видно, что он больше любил слушать, и не из любезности, а с неподдельным интересом. Зная до нашей бакинской встречи, что я еще в дооктябрьские дни слушал речь Ленина, которую он произносил с балкона особняка Кшесинской, и что в момент Октябрьской революции я был в Петрограде, он расспрашивал меня о тех незабываемых днях, интересовался моими впечатлениями о Ленине, Луначарском, Крупской и беседами с Горьким в первые дни Октября. Он не раз возвращался к этим темам, когда мы оставались с ним вдвоем. Я заметил, что он не любил официальных разговоров, которые часто бывают на собраниях или банкетах. Живой, остроумный, горячо реагирующий на каждое высказывание в личной беседе, он был

сдержан и немногословен на банкетах, которые устраивали нам писатели Азербайджана в дни нашего пребывания в Баку.

Запомнилась мне и теплая встреча, оказанная Асееву в клубе Каспийской флотилии, когда мы читали свои переводы стихов азербайджанских поэтов. Заметка об этом вечере в газете «Вышки» хранится у меня до сих пор.

Но вот работа наша закончилась, и мы разъехались в разные стороны. Асеев вернулся в Москву, я в Тбилиси. Прошло два десятилетия, в течение которых мы не виделись. Асеев жил все это время в Москве, я в Грузии.

При окончательном переезде в Москву, в 1950 году, я зашел к Асееву. Меня встретил седой поэт, но и в разговоре и в мироощущении такой же молодой, задорный, пылкий, прямой, правдивый, ненавидящий фарисейство и рутину. Я сам помолодел в его присутствии. И мне, как в былые годы Самеду Вургуну, вдруг стало так тепло и уютно от сознания, что существует такой поэт и человек, как Николай Асеев. Эта встреча была второй и последней.



АЛЕКСАНДР ШПИРТ

ПЕВЕЦ ЗВЕНЯЩЕЙ МОЛОДОСТИ

Звени, звени, молодость,
Сильная да злая...

Н. Асеев

Ранней весной 1924 года по еще не совсем оттаявшему Приморскому бульвару, вдоль каменного парапета, шла небольшая группа молодых людей. Они шли не торопясь, от одного конца бульвара до другого — от памятника Пушкину и поднятой тут же недалеко на цементный постамент старинной пушки с потопленного английского фрегата «Тигр» до ограды белоколонного Воронцовского дворца, от которой они снова начинали обратный путь к памятнику Пушкину.

Это были молодые одесские поэты и прозаики, объединившиеся в литературный кружок, получивший название «Потоки».

Мне, начинающему поэту, не так давно тоже ставшему «потоковцем», было очень интересно бродить с

новыми моими друзьями, внимать их бесконечным разговорам о поэзии, слушать стихи.

Сумерки уже начинали скрывать опустевший одесский порт. Кое-где загорались огни. Замигал Воронцовский маяк. А мы все еще шагали по пустынному бульвару и читали стихи любимых поэтов. Среди нас выделялась крупная фигура поэта Давида Бродского, обладавшего феноменальной памятью и способного без устали цитировать многих — и старых и современных поэтов. Сейчас он читал какие-то неизвестные мне стихи, согласовывая свои шаги с их ритмом.

...Но если механик движенье утроит
В разгаре сплошных погонь,—
От тренья нагреется целлулоид
И все зацелует огонь!..

— Давид, кто это?
— Асеев,— коротко ответил он и продолжал читать.

Так на Приморском бульваре, возле сбегавшей в порт Потемкинской лестницы и памятника Дюку де Ришелье, я впервые услышал о поэте Николае Асееве. Это было первым — пока еще заочным — знакомством. Впоследствии я был осчастливлен встречами с ним в Москве... Становилось темно. Было сыро, зябко. Влажный ветер освистывал голые ветки платанов. Мы покидали бульвар. Я уходил вместе с пришедшим ко мне новым замечательным поэтом...

В начале двадцатых годов в Одессе часто открывались книжные базары, где случайно можно было наткнуться на уникальные книги. Однажды я рылся в куче старых поэтических сборников, и вдруг мне попалась длинноватая, в светло-зеленой обложке книга со странным названием — «Пета». На обложке, сверху, как эпиграф, были известные слова Максима Горького о футуристах: «В них что-то есть!» Дата выхода — 1916 год. Среди участников — Николай Асеев.

Я тут же приобрел эту уже и в то время редкую книжку. Я не знаю, сохранилось ли еще у кого-нибудь это издание, тираж которого — 200 экземпляров — давным-давно уже растаял.

Среди разнообразной зауми единственно разумным было асеевское стихотворение «За отряд улетевших уток».

Любопытно, что в этом сборнике было слово Николая Асеева о новой поэме Владимира Маяковского «Облако в штанах». Со свойственным ему молодым задором (Асееву тогда было 27 лет, но, как известно, молодой задор не покидал его и в шестидесятые годы) он обращается к критикам, которые «потеряли язык или стерли кожу с него, подлизываясь к пиршеству Госпожи войны» (и это было написано в 1916 году, в разгар первой мировой бойни).

Асеев предлагает критикам: «Может быть, кто-нибудь попробует силенки на этом силомере?» (то бишь на «Облаке в штанах»).

Маяковский и Асеев! Еще до революции, в годы первой мировой войны, зарождалась их большая поэтическая дружба. И «Асеев Колька», как по-дружески назвал его Маяковский, и «Владимир Необходимович», как назвал Маяковского тоскующий по нему до последних своих дней Асеев, были всегда вместе и в труде и в боях — до конца!

Поистине — великая дружба!

Мое вступление в «Потоки», общение с Эдуардом Багрицким, Семеном Гехтом, Сергеем Бондариным, Семеном Кирсановым, Давидом Бродским очень меня обогатило. Я познал счастье узнавания многих незнакомых мне поэтов. С некоторым опозданием я стал знакомиться и со стихами Асеева — и на меня обрушилось что-то новое, яркое, необычное. Меня поразили многогранная тематика его поэзии, высокая романтическая приподнятость, потрясающая метафора, великолепная аллитера-

ция, удивительная ритмика, неожиданная рифмовка. Все было ново, интересно: романтика славянской древности («Песня сотен», «Песня Ондрия»); «Венгерская песнь» — стихи, направленные против войны («Бьются Перун и Один»); «Стальной соловей» («Со сталелитейного стали лететь крики, кровью окрашенные»); «Россия издали» («В России всходят зеленя и бредят бременем покоса»); «Гастев» («Нынче утром певшее железо сердце мне изрезало в куски»); «Черный принц» — поэма с удивительным ритмическим рисунком; «Королева экрана», строки которой так меня впервые поразили в чтении Бродского. А по стране неслась на рысях его знаменитая «Конная Буденного»... Это был еще ранний Асеев. А на подходе были «Лирическое отступление», «Свердловская буря», «Синие гусары»...

Двадцатые годы!

Сейчас на дворе шестидесятые, но как радостно вспоминать то время. Ведь это было детством советской поэзии. Почему это ранние стихи Асеева, Сельвинского, Тихонова, Багрицкого, Казина, Светлова, Луговского — да разве всех перечислишь? — вызывают какое-то доброе до слез чувство, чувство юности, восторженности — начала?!

Встреча с детством — это всегда прекрасно.

В середине двадцатых годов многие из моих друзей-потоковцев переехали в Москву. Спустя несколько лет, когда я вслед за моими старшими товарищами приехал в столицу и стал студентом творческого отделения Редакционно-издательского института (РИИН), мне и другим студентам «творцам» выпало счастье встретиться с Николаем Асеевым, как с руководителем нашего поэтического семинара. На этих семинарах Николай Николаевич разбирал поэтов по косточкам-строчкам, указывая на слабые или сильные места, всегда открывал им новые горизонты поэтического мастерства.

Однажды — это было уже несколько лет спустя, после занятий в РИИНе — принес я в журнал «Октябрь» два своих стихотворения. Поэтическим отделом журнала ведал тогда Николай Асеев.

Когда я вторично пришел, чтобы узнать о своих стихах, мне сказали, что Асеев хочет со мной говорить.

Я вошел к нему. Николай Николаевич сразу же сказал мне, что одно стихотворение ему понравилось и оно пойдет. О другом стихотворении он сказал так:

— А вот второе мне нравится меньше, но, если вы хотите, мы и его напечатаем...

Сказать по правде, я смутился: как же так? Он мне самому дает право решать судьбу моего же стихотворения? Это было так неожиданно, так необычно — я не помню ни одного такого случая, когда самому поэту предоставлялся выбор — печатать его стихи или не печатать.

— Нет, Николай Николаевич,— сказал я,— если вам второе стихотворение нравится меньше, то незачем его и печатать. Я заберу его, пусть идет одно стихотворение.

Этот небольшой диалог многое говорит об Асееве, и не только как о поэте, но и как о человеке, воспитателе, учителе. Он воспитывал характер молодого поэта, заставлял его задуматься о своей поэтической судьбе, он как бы говорил: стихи слабые, разве хочется тебе выходить с ними на люди? Решай-ка сам!..

Да, это был урок взыскательности к самому себе, причем урок тактичный, без нажима, основанный на доверии старшего поэта к своему младшему собрату...

Тридцатые годы — годы возмужания советской поэзии. Были уже крупные достижения. Появились большие поэмы, книги замечательных стихов. Попутно шли споры, диспуты. Было много поэтических вечеров, где выступали поэты различных направлений.

Выступал много и Николай Асеев, принимая горячее участие в диспутах, читая свои стихи.

Мне запомнился один поэтический вечер. Я никак не могу вспомнить, в каком году это было. Но одно ярко освещено памятью: выступление Асеева.

Огромный зал переполнен. В воздухе чувствуется какая-то торжественность. Асеев — еще молодой, худощавый, энергичный — читает стихи. Они имели повторяющуюся строку, состоявшую из двух слов: «Мурманск, Мурманск!» Причем ударение делалось на букву «а» — «Мурма́нск, Мурма́нск!». Впоследствии мне пришлось быть в Заполярье, и я могу засвидетельствовать, что мурманчане именно так произносят название своего города. Асеев это знал, но большинство слушателей тогда еще этого не знали, и необычно звучащее название города заворожило всех. Асеев мастерски читал. Второй и последующий рефрены подхватил уже весь зал, все вместе с автором в каком-то воодушевлении скандировали: «Мурма́нск, Мурма́нск!»

Эти стихи буквально вызвали овацию. Я не знаю, были ли они когда-нибудь опубликованы в книгах Асеева, мне они не встречались, а ведь как они понравились тогда всем.

Асеев много раз выступал на собраниях московских поэтов. Говорил он страстно, с запалом. Он всегда был каким-то беспокойным, все горячо принимал к сердцу. В нем была черта (я не боюсь этого старого слова) правдолюбца. Он не умел хитрить,— он всегда говорил резко и прямо.

И потом он был очень раним, может быть даже повышенно чувствителен, он мог обижаться, но не по мелочам, а за что-то большое, за поэзию — не за себя. Он считал, что внимание нужно оказывать не так поэту, как его работе, творчеству. В связи с этим вспоминается мне, как на одном собрании поэтов Николай Николаевич, выступая по какому-то вопросу, вдруг стал

рассказывать, как он, идя по Тверскому бульвару с одним писателем (Асеев назвал его имя) и читая ему свои новые стихи, заметил, что его спутник вдруг стал проявлять интерес к проходившим людям и проезжавшим трамваям, то и дело глядя по сторонам.

Мне сейчас не хотелось бы называть имя того, кому Асеев читал стихи, полагая, что теперь, спустя тридцать лет, и сам Николай Николаевич — будь он жив — не хотел бы назвать имя того известного писателя. Но тогда Асеева это очень обидело, так обидело, что он даже пожаловался своим друзьям-поэтам.

Запомнилось еще и другое собрание московских поэтов на улице Воровского, 52, в зале, ныне перестроенном для служебных помещений.

Шел разговор о путях и задачах советской поэзии. Зал был переполнен. Выступали поэты и критики. Но, словно ярким светом прожектора, в памяти озарено лишь одно выступление. Это было слово Николая Асеева о новой поэме молодого ленинградского поэта Бориса Корнилова.

В 1934 году была опубликована его поэма «Триполье». Темой ее стал трагический эпизод гражданской войны на Украине. Комсомольский отряд, шедший на подавление кулацкого восстания, возглавляемого атаманом Зеленым, был внезапно окружен его бандой, прижат к крутому обрыву Днепра и уничтожен.

Взволнованное выступление Асеева произвело огромное впечатление. Он говорил о большой удаче молодого поэта, о том, что вот так надо писать о героях революции, он цитировал отдельные куски поэмы, после чего раздались горячие аплодисменты в адрес талантливого произведения Корнилова. Мне кажется, что в тех аплодисментах звучала и благодарность Николаю Асееву, который одним из первых оценил эту поэму, раскрыл ее революционную насыщенность.

Асеев умел радоваться удачам своих товарищей по поэтическому оружию!

...Мне хочется перешагнуть через десяток лет. Была война. Потом мы вернулись с войны домой. Началась мирная, но еще полная послевоенных трудностей жизнь. Советская поэзия обогатилась новыми поэтическими именами военного поколения.

В эти послевоенные годы некоторые стали говорить, что Асеев молчит, не пишет, а кое-кто даже высказывал предположение, что поэт «исписался». Ничто не могло быть так далеко от истины, как это предположение. Сам поэт вскоре разоблачил этих скептиков: его новые замечательные стихи появились в журналах, газетах, передавались по радио. Поэт все время был в работе.

Асеев и в последние годы не предавался отдыху, не искал тихой пристани. В 1955 году выходит его новая книга стихов «Раздумья». Это был и новый взлет его поэзии. Конечно, Асеев не стал другим — он остался Асеевым, но все прежнее, асеевское стало еще более глубоким, мудрым, еще более наполнилось философским раздумьем.

Асеев продолжает работать. Пройдет еще несколько лет, и он завершит свой поэтический подвиг — опубликует свою замечательную книгу стихов «Лад» — последний взлет поэта.

Теперь мне предстоит рассказать об одном необычном телефонном звонке. Необычным он был для меня, но для человека, однажды вечером позвонившего мне, этот звонок был естественным, соответствовавшим всему складу его характера.

В последние годы жизни Николай Николаевич тяжело болел, не выходил из дому, личное общение с внешним миром было нарушено. По-видимому, вспоминались ему тогда люди, которые встречались на его жиз-

ненном пути, и ему хотелось узнать о них — живы ли они, здоровы ли, что делают?

Случилось так, что Николай Николаевич вспомнил и обо мне и позвонил.

Я был очень смущен, услышав:

— Это говорит Асеев.

— Николай Николаевич! Вы? — от неожиданности переспросил я. Мелькнула даже мысль: за какой же надобностью мог позвонить он мне? Может быть, что-то спросить, узнать о чем-то крайне ему необходимом? Может быть, справиться о ком-то?

Но нет — оказалось, позвонил мне просто так, вспомнив наш поэтический семинар в РИИНе и то, что когда-то он печатал меня в «Октябре» и читал мои стихи в других журналах и что потом почему-то долго не встречал мою фамилию.

— Что вы все эти годы делали? Над чем сейчас работаете? — допытывался Николай Николаевич.— Почему так редко печатаетесь?..

Это было так необычно, так трогательно, что меня охватило волнение. Меня тронули внимание и память большого поэта, и поначалу разговор как-то не сразу наладился. Я отвечал отрывисто, односложно. Но потом мы разбеседовались, и я рассказал ему о себе, сказал, что стихи пишу, что одновременно много занимаюсь переводами поэтов братских литератур, что подготовил новую книгу стихов, которой дал название «Взволнованный берег», что она должна выйти в «Советском писателе» и что, как только выйдет, я обязательно принесу ему эту книжку.

Конечно, мне невозможно вспомнить дословно все то, о чем мы тогда говорили. Помню, что он вспоминал людей, которых мы оба знали, говорил о новой поросли советских поэтов, многие из которых, как он говорил, его радуют. Потом он попрощался со мной, сказав, что будет ждать моей книжки...

Разговор закончился, но я еще долго находился под его впечатлением.

Кажется, что особенного? Телефонный звонок. Но как же раскрыл он душевные качества Николая Асеева, как рассказал он о том, каким обаятельным свойством проникновенного внимания к людям, заботы об их судьбе обладает этот человек.

Думая о его жизни, я понял, что это она наделила его характером, который складывался в общении с народом, с солдатами, среди которых он бывал — и в годы первой мировой войны, и в революционные годы. Он сам писал, что «Серая солдатская шинель выучила и образовала» его — и это осталось на всю жизнь.

Этот трогательный звонок стал очень важным для меня, он оставил во мне неизгладимый след и не будет забыт мною до конца моих дней.

И еще с сожалением хочу я сказать о том, что данное Асееву обещание — подарить мою книгу стихов — выполнить я не смог: в июле 1963 года, когда я еще только ждал получения авторских экземпляров, кто-то вдруг принес слух о смерти Николая Асеева. Потом официальное извещение в печати подтвердило это: поэт умер 16 июля 1963 года.

Пять десятилетий работал Николай Асеев в русской советской поэзии. Он был одним из тех, кто стоял у истоков ее зарождения и формирования.

Я не критик, не литературовед, но надеюсь, что мне будет позволено завершить свои заметки об Асееве некоторыми мыслями по поводу асеевской поэзии.

Связав свою поэтическую судьбу с Маяковским, с поэтами лефовского направления, Николай Асеев, как и его друзья, засучив рукава сражался на передней линии борьбы за нового человека, за новое общество. Он начал схватку с «двужильной стариной» затхлого быта

(«Долго ли жить нам еще стариной покоренными, тупиками сознаний в былое кривясь»); поэзия Асеева подняла меч на все отжившее, рутинное; он первый ударил стихом по оставшимся от царизма золотым орлам на кремлевских башнях («Вон он на Спасской башне сидит, где куранты бьют «Интернационал»). Золотые царские орлы были сброшены светом рубиновых звезд и гневными асеевскими стихами.

Асеев воспевал молодость — пионерию, комсомолию — наше грядущее. Он писал стихи о спорте, о честности, о верности.

Заглядывая в будущее, поэты-лефовцы всецело посвятили свое творчество жизни, им современной, воспеванию хорошего, нового, светлого, бичеванию плохого, старого, темного.

Никто не станет утверждать, что ЛЕФ был главным течением в тогдашней поэзии, но все же невозможно не отметить, что поэзия Маяковского, Хлебникова, Асеева, Каменского, Третьякова, молодого Кирсанова и других поэтов-лефовцев занимала видные позиции. Эти поэты поняли причины и устремления Октябрьской революции и дрались за утверждение ее идей. Творчество лефовских поэтов было прогрессивным явлением в нашей поэзии.

В одном из номеров литературной газеты «ЧиП» («Читатель и писатель»), издававшейся в середине двадцатых годов, было сказано о футуризме так: «Футуризм из «пугала» дореволюционной литературы превратился в политического работника революции, и работника не за страх, а за совесть...» С этим нельзя не согласиться.

Что касается вопросов формы, исканий нового, то и в этой области лефовцы сделали немало открытий. Можно утверждать, что все лефовцы были новаторами.

Мы помним те начальные годы, когда поэты разных

содружеств спорили, дискутировали, «ниспровергали», «отлучали», «изничтожали» друг друга. Сыр-бор был объят пламенем — нападали на Маяковского, на Асеева, на Сельвинского, на Багрицкого, на Есенина, на Ахматову — шли споры о судьбе советской поэзии... Но споры спорами, а разве Маяковский не ценил Есенина? («У народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга-подмастерье», «Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел»); разве Багрицкий не любил Маяковского? («Привет тебе, Маяковский»,— писал он в своих ранних стихах); разве не Ахматова, чье творчество так отлично от творчества Маяковского, ценила его поэтический подвиг? («Грозные ты возводил леса»); и разве не Асеев писал пролетарскому поэту Гастеву: «Я хочу тебя услышать, Гастев, больше, чем кого из остальных»?

Прошли годы. В спорах родилась истина. Теперь мы видим, что истина эта состоит в том, что разные поэтические группировки давно исчезли, а поэты — хорошие и разные — остались; истина заключается в том, что поэтов и течений было много, а советская поэзия — одна, и каждый из этих поэтов был ее гордостью.

Поэзия Николая Асеева уже с первых дней революции была мобилизована и призвана на борьбу со всем тем, что было враждебно новой жизни. Но несмотря на огромное количество написанных им злободневных газетных стихов-фельетонов, несмотря на приверженность к лефовской теории литературы факта, Асеев всегда и во всем оставался лириком. Он и к факту подходил с лирических позиций (вспомним поэму «Семен Проскаков», написанную на материале архивных данных). Асеев, который и сам о себе сказал: «Я лирик по складу своей души», действительно является одним из наших лучших лирических поэтов.

Есть в русской поэзии строчки, которые — прочтете ли вы их впервые или в двадцатый раз — всегда вызы-

вают душевное волнение своей кристальной простотой, своим всепроникающим лиризмом.

«Тихо-тихо сидят на снегу снегири меж стеблей прошлогодней крапивы; Я тебе до конца описать не смогу, как они и бедны и красивы!» Очень простые строки, но, наверно, не надо объяснять, что это истинная поэзия.

А кто не запомнил строки, написанные несколько десятилетий тому назад: «Не за силу, не за качество золотых твоих волос сердце враз однажды начисто от других оторвалось».

Чей слух не ласкают известные всем строчки из «Венгерской песни»: «Простоволосые ивы бросили руки в ручьи. Чайки кричали: «Чьи вы?» Мы отвечали: «Ничьи!»

Или вот — обращение к рабочему классу. Какая нежная слышится интонация, какая лиричность в этой просьбе: «Положи мне на сердце ладонь, чтобы пело оно, а не ныло, чтобы билось на сотни ладов и ни разу не изменило».

А помните начальное четверостишие «Лирического отступления»? Первые две строки — строгий окрик, даже приказ: «Читатель, стой! Здесь часового будка. Здесь штык и крик. И лозунг. И пароль». А потом вдруг неожиданный переход в такое теплое, задушевное воспоминание: «А прежде — здесь синела незабудка веселою мальчишеской порой».

А разве не сжимают сердце и сейчас, через полтораста лет после разгрома декабристов, строки Асеева из его «Синих гусар»: «Что ж это, что ж это, что ж это за песнь?! Голову на руки белые свесь. Тихие гитары, стыньте дрожа: синие гусары под снегом лежат!»

Цитировать Асеева можно без конца. Такие строчки живут и будут жить в сердцах многих поколений. Разве это не чудесное свойство всех больших поэтов?



ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА

1

Трудно писать о том, что очень глубоко вошло в жизнь, определяло тебя и как бы от тебя не отделилось.

Не могу вспоминать о том, как ходил с Николаем Асеевым по московским бульварам, начиная от его дома, который стоял на старой Мясницкой перед Почтамтом,— туда к площади, на которой тогда стоял памятник Пушкину: по-иному, лицом к Страстному монастырю.

Много было говорено.

Эти слова не записаны: они вросли в жизнь.

Николай Асеев жил своей отдельной жизнью. Он приехал из Владивостока вместе с Сергеем Третьяковым.

Сергей Третьяков — рассудительный романтик с безумными загибами, родился и вырос в Риге, побывал в Сибири.

Вошел в революцию, думал вместе с Гастевым и Асеевым, пытался и хотел додумать и переделать все до конца, стал москвичом своего времени.

Может быть, больше всего переделать и додумать с Брехтом, с которым он был связан долгой дружбой: с Брехтом, который через Третьякова получил представление о теориях ЛЕФа.

ЛЕФ сам был противоречив, он собирался, как река из ручьев, меняя ложе, оставляя в стороне то, что в России называли старицей: старицы — это обрывки реки незарастающие, продолжающие жизнь узкими озерами.

В ста шагах на Водопьяном переулке журнал «ЛЕФ» — генеральная ставка Маяковского.

2

Мартеновская сталь, производство которой охватывает 80 процентов всей стали,— переплав в печах чугуна и стального лома.

Передел вводится в различные элементы для сообщения плавке различных свойств.

В производстве великого искусства принимает участие и уже осознанная искусством жизнь, заново перерабатываемая и непрерывно обогащаемая новыми элементами.

В творчество Николая Асеева вошли элементы русского фольклора, русской классики; послереволюционный труд Алексея Гастева — поэта, работающего над вопросами организации труда.

Гастев предвосхитил часть идей, которые потом вновь возникали, сливаясь в кибернетику.

В нашу литературу входили и новые элементы — увлечение математикой. Математика временами овладевала целиком мыслями Хлебникова. Хлебников, подытоживая истоки нового, писал в 1916 году: «Маяковский

в неслыханной вещи «Облако в штанах» заставил плакать Горького. Он бросает душу читателя под ноги бешеных слонов, вскормленных его ненавистью... Хлебников утонул в болотах вычислений, и его насильственно спасали. «Светись, о грядущей младости еще неживое племя. О время, я рад, что достиг держать тебе ныне стремя».— Так пишет, выступая, Асеев с сдержанной гордостью...» [1]

Многие реки сливались в творчестве Асеева. Хлебников писал: «Сломанные когти и ссадины на груди — наши умершие товарищи — «Сердец отчаянная Троя не размела времен пожар еще — не изгибайте в диком строе, вперед, вперед, товарищи!» — Асеев — Божидару» [2].

Это стихотворение взято и напечатано Хлебниковым в строку из стихотворения Асеева «Осада неба», посвященного памяти рано погибшего Божидара, поэта, пытающегося разгадать закономерность тех форм русского стиха, которые в начале века считались ошибочными, но оказались предсказанными.

3

Был Николай Асеев молод, строен, белокур; носил серый костюм. Жил на Мясницкой почти рядом с бульварами в девятом этаже дома Московской школы ваяния и зодчества. Лестница без лифта — каменная и крутая; дверь, ведущая с лестницы прямо в комнату; поэта и его жены Оксаны часто не бывало дома — тогда поднимавшиеся отдыхали на площадке, писали на дверях стихи, вырезывали инициалы, смотрели из окна вниз.

---

[1] В. Хлебников. Собрание произведений, Издательство писателей в Ленинграде, 1933, т. 5, стр. 214.

[2] Там же, стр. 212.

Тут недалеко жил замечательный фотограф Александр Родченко.

Родченко изменил многое в советской и мировой фотографии; вторгся с фотоаппаратом в кино и живопись; многое изменил и в книжной графике и в самом видении мира.

Он увидал и двор из окна лестницы, ведущей в комнату Асеева: узкий колодец, но не замкнутый, а как бы кусок высокого разбомбленного крутого амфитеатра.

4

Представляем часто реку поэзии, как Неву с ее «державным течением», подчеркнутую серыми гранитными линиями набережных.

Но реки поэзии кочуют, скрещиваются, уходят под землю, выныривают, родясь вновь.

Я хочу быть понят моей страной,—

писал Маяковский,—

а не буду понят —
что ж?
По родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь...

(1928)

Проходит косой дождь, солнечный дождь, пронзенный солнцем. Дождь находит свою дорогу к ручьям и доносят реки его к океану.

Говорю о косых дождях, крутых дорогах, крутых лестницах, о трудном дыхании молодой груди, преодолевающей каменные ступени строк и строф.

Вспоминаю поэта Сергея Боброва — математика, статистика. До первой войны он с Николаем Асеевым, с Борисом Пастернаком, Григорием Петниковым работал в группе «Лирика», потом в группе «Центрифуга».

То было объединение людей, опьяненных движением слова, пересечением словесных образов, разнопониманием, разноосвещением слов, тем, что тогда называлось «распевочное единство».

Асеев работал на выяснении слов через их сопоставления.

Косой дождь — это увиденный край дождя.

Косой дождь Маяковского всю жизнь поэта вливался в революцию.

5

Николай Асеев заключил союз с революцией с 17-го года «на век».

В минуты обиды, в минуты спора он говорил, обращаясь к пролетариату:

Положи мне на сердце ладонь,
Чтобы билось оно, а не ныло.

Сердце Асеева лежало на ладони революции.

Владимир Маяковский, поэт-произноситель, строил стихи, подымая их террасами колонн, построенных слов.

Есенин пел.

Не принимал и не понимал Сергея Есенина Пастернак, живя в песенном единстве, в своем движении по небу поэзии, но он дошел до нового понимания материи мысли — слова.

Николай Асеев поэт напевный, лирический, двигающийся ходом переосмысляемого слова.

Слова в его стихах расположены организованно, как листья деревьев, вибрируют живым гулом.

Деревья ориентированы по солнцу. Они прекрасны для глаз — понятны ветру.

6

Николай Асеев поэт самостоятельный — совсем особый.

Это редкое качество, качество сродное, может быть, десятку русских поэтов. Он был ближайшим другом Маяковского.

Писал Пастернаку в поэме «Маяковский начинается»:

Не названный друг мой...

По трудным дорогам блуждая, подымались трое, имея своих друзей, своих слушателей, своих совопросников.

Я начал с дома на Мясницкой, но еще не открыл двери в тогдашнюю комнату Николая Асеева.

Это была одна комната старого дома со странными очертаниями стен.

Крыс этой комнаты Асеев описал в прозе.

Москву из этой комнаты он увидел для поэзии.

Из другого этажа того же дома Александр Родченко снимал улицы города ночью с долгой выдержкой.

Открыл струи света в движении реки московских автомобилей.

Николай Асеев был десятки раз назван в стихах Маяковского, как друг, как товарищ в строю. Когда на одном большом собрании писателей один оратор хотел противопоставить их, столкнуть, они вышли на помост и стали рядом.

Николай Асеев сказал тогда, что он не принимает звания первого поэта.

Не помню точных слов, но помню, как стояли они на глазах толпы, обнявшись как будто на века.

7

Трудны косые пути поэзии, скрещивание нитей жизни, соотношение дерева с золотом солнца. Оно прорывается сквозь перебор листьев, неискаженным ложась на землю золотыми, неискаженными кружками.

Солнце поэзии, единое и по-разному повторенное, как долго я о тебе не вспоминал.

И Николай привел меня снова к солнцу и за всеми стоял Хлебников, сам стремящийся понять себя, стать простейшим по доступности.

Простота же может быть достигнута только после многократной проверки вдохновением.

Как любил Маяковский Пастернака.

Мне кажется, что он и сейчас любит его бессмертным своим сердцем.

Как любил правду словесной дороги и спутников своих, сотоварищей Пастернака и Маяковского — Николай Асеев.

Пастернак, как кажется мне сейчас, не имел этой исторически продолжительной, как будто бы начавшейся с прошлых десятилетий поэзии, любви к друзьям-поэтам.

Изменял в прозе после «Охранной грамоты» имена любимых и зачеркивал другие имена, как будто исполняя скучную роль завещания того, что и так завещано стихами и не может быть иным способом пересмотрено.

В поэзии узнается мир в его новизне; она обновляет, и очищает, и окрашивает солнцем и кровью любовь и дает его с горечью сомнений и с прощением.

Сомнения поэта — это утверждение мира не может быть ошибкой Маяковского — был перенос из агитационных стихов к лирику прямого утверждения.

Впрочем, и он умел, умел как никто давать жизнь «в ином разрезе».

8

Молодой помню Ксану Асееву, тогда названную поэтом «жемчужиной мира». Для меня, как для человека того поколения, той судьбы, тончайшей формулой отрицания, которое превращается в утверждение, звучат слова Асеева:

Нет, ты мне совсем не дорогая,
Милые такими не бывают...

Это литота — фигура, которая, отрицая, утверждает. Новое отрицает старое, но не отрекается от него; оно, отрицая, утверждает, любят те, кто творит.

Перед памятником Пушкину на Страстной площади в юбилейные дни разговаривал с Пушкиным Маяковский, любовно связывая его стихами с памятью о Некрасове — родня их.

Процесс познания «нового лада» мира выражен в словах, в шаге стихов, в распевочном единстве их, в изменении ритмов и смыслов — путь Николая Асеева, которого пора понять, назвав великим поэтом.

Вот что я хочу сказать воспоминаниями.

Год рождения, год смерти, прическу, обстановку комнаты — о всем этом вы узнаете по документам, по старым иллюстрациям, и, может быть, по своим воспоминаниям.



ПАВЕЛ ЖЕЛЕЗНОВ

АКТИВНЫЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

В Крыму расцветают черешни и вишни,
там тихое море и теплый прибой.
А я, никому здесь ненужный и лишний,
не знаю, как быть и что делать с собой.

А я пропадаю за милую душу,
за милую душу, за синие дни;
ночую без крыши и сплю без подушек,
скитаюсь без цели, живу без родни...

Когда я впервые услышал эти стихи от кого-то из моих друзей, начинающих поэтов из литобъединения «Вагранка», спросившего с ухмылкой, мол, не я ли это написал, мне показалось, что именно я мог бы так написать. Я или кто-нибудь из бывших беспризорных, будущих участников альманаха «Вчера и сегодня», организованного мной позже, по заданию Горького. Уж очень стихи были мне близки! Не верилось, что их написал автор «Синих гусар» и «Лирического отступле-

ния», один из самых известных соратников Маяковского — Николай Асеев! Очень удалось ему точно передать мысли и чувства беспризорника. Я тут же постарался запомнить наизусть «За синие дни», при этом, не скрою, немного переделал концовку, вместо «Нас пар не обварит и смерть не задушит, бригада не выгонит из западни» я читал по-своему: «А коль не поеду, тоска здесь задушит, не вырваться мне из ее западни. Мы здесь пропадаем за милую душу и т. д.». В таком варианте я прочел эти стихи Асееву, познакомившись с ним в редакции журнала «Даешь!» в конце двадцатых годов. Николай Николаевич слушал, добродушно улыбаясь. Не обиделся на мои исправления.

Маститый поэт дружески пожал руку начинающему, одобрил и опубликовал в одном из ближайших номеров журнала отрывок из моей поэмы «Ночлежник» и заказал стихи о прогулах. Стихи эти были мной написаны в заданный срок, одобрены Асеевым и напечатаны. Как и Маяковский, он считал, что труд поэта «любому труду родствен» и что стихи не творят: «разжал уста и запел, пожалуйста», а «делают» и «переделывают»...

С нескрываемым интересом, со здоровым любопытством он расспрашивал меня о жизни беспризорников. Так, наверно, мхатовцы, впервые игравшие в пьесе «На дне», когда-то расспрашивали хитрованцев. С «Хитровкой» я был поверхностно знаком: ночевал там пару раз перед ее окончательным закрытием. Но московские «гопы» (так называли блатные ночлежку) «Ермаковку», «Морозовку» и ленинградские «Расстанный» и «Забалканский» знал хорошо. Асеев слушал, как говорят, «в оба уха».

В 1931 году другой большой поэт, один из тогдашних «властителей дум» молодежи, Эдуард Георгиевич Багрицкий отредактировал и подписал к печати мою пер-

вую книжку стихов «От «пера» к перу», до его прихода в издательство «Федерация» (ныне «Советский писатель») несколько месяцев пылившуюся на редакционных полках. В издательстве меня обрадовало не только известие, что моя книга скоро выйдет в свет, но и то, что предисловие к ней взялся написать Николай Асеев!

Николай Николаевич жил тогда напротив Центрального почтамта, во дворе большого, многокорпусного дома, где когда-то помещался знаменитый Вхутемас, в гостях у студентов которого побывали Ленин и Крупская.

А в 1931 году здесь помещался в первых этажах Рабфак искусств, а верхние этажи занял Литературный факультет Московского университета, переброшенный сюда с Моховой и реорганизованный в Редакционно-издательский институт, студентом которого, когда он еще был Литфаком, я стал с помощью Горького.

Я знал корпус, где на «верхотуре», как он шутя говорил: «на седьмом небе», жил Асеев. Но без приглашения заходить к нему стеснялся. На этот раз смело зашел, получив официальное приглашение. Большая светлая комната, где жил Николай Николаевич вместе с не раз им воспетой Ксенией Михайловной, показалась мне, по тем временам, прекрасной. Приняли меня Асеевы радушно, тепло. Угостили чудесным чаем с булочками. Николай Николаевич, уже прочитавший мою книжку, перелистывая гранки, похвалил стихи «Почтамтскому перу», прочел вслух строки: «Хорошо, что крепкие оковы нацепил догадливый почтамт. Удержу иначе никакого б ни перу бы, ни моим мечтам» — и, подчеркнув их ногтем, сказал: «Вот ведь многие видели, что на почтамте перья к чернильницам прикованы, а вы первый об этом написали!»

Предисловие Асеева к моей книге напоминает взволнованный монолог...

По стихам Асеева, по рассказам его друзей знаю, что в юности у него были густые русые вихры волос. Когда я с ним познакомился, волосы у него уже поредели и потускнели, но глаза блестели задорно, по-молодому. Этот молодой блеск глаз он сохранил до конца своих дней. Надо было видеть, как загорались, суровели или добрели его глаза во время разговора о поэзии. Я это заметил при первой встрече в журнале «Даешь!» (кстати, Асееву очень нравилось название журнала, взятое из призывов гражданской войны: «Даешь Крым!», «Даешь Варшаву!»). Тот же огонь в его глазах сверкал и в пятидесятые годы на заседаниях поэтов в Центральном доме литераторов, и в редакции журнала «Октябрь». На одном из заседаний группы поэтов в «Октябре» в 1952 году Асеев горячо выступил в поддержку молодых и, не встретив сочувствия, ушел вместе со своими подзащитными с заседания...

После выхода моей первой книги я несколько раз навещал Асеева, вскоре переселившегося в отдельную квартиру в писательском доме на Тверской, нынешней улице Горького. Асеев шутил: «Раньше я жил напротив Центрального почтамта, теперь — напротив Центрального телеграфа! Повышение!» Помню, как он читал в этой квартире вслух строки из стихов Маяковского о Центральном телеграфе. Помню его рассказы о Маяковском, многие из которых вошли потом в его поэму «Маяковский начинается»:

Он шел по бульвару
худой и плечистый,
возникший откуда-то сразу, извне.
Высокий, как знамя,
взметеннсе в чистой
июньской
несношенной голубизне...

С молодым интересом слушал он мой рассказ о том, как я первый раз в жизни выступал перед рабочей аудиторией в присутствии Маяковского. Меня назвали, давая мне слово, районным поэтом. Маяковский после моего выступления пожелал мне стать мировым, обыграв по-маяковски это слово в обоих значениях. Когда я удивился, что он не ругает меня за ямбы, Маяковский полушутя посоветовал написать о нем ямбами, вставить его фигуру в этот ритм.

Я вспомнил строки Маяковского из стихов, посвященных Пушкину: «Вам теперь пришлось бы бросить ямб картавый, нынче наши перья штык да зубья вил. Битвы революций посерьезнее Полтавы и любовь пограндиознее Онегинской любви».

— Да, таков был Маяковский,— сказал Асеев.— А что касается последних строк этой строфы, то насчет «битв» поэт прав, а вот насчет любви я с ним не согласен. Любовь Онегина к Татьяне, Ромео к Джульетте, воспетого Гомером Париса к Елене Прекрасной не менее грандиозны, чем любовь нашего времени...

Когда я спросил, следует ли выполнить задание Маяковского — написать о нем ямбом, Николай Николаевич ответил: «Попробуйте!» Я попробовал и написал ямбом стихи о похоронах Маяковского. Асееву понравились строки: «Сияло солнце. // Звонко пели ручьи, катясь в Москву-реку. И в первый раз под звон капели я в сердце чувствовал тоску». Стихи тут же, в апреле 1937 года, были напечатаны в журнале «Октябрь», где Асеев тогда заведовал отделом поэзии. Стихи эти потом вошли в мою поэму «Маяковский». Встретившись в 1946 году в Центральном доме литераторов, мы с Асеевым дружески обнялись. Сочувственно поглядев на мою правую ногу, покалеченную на фронте, Николай Николаевич грустно пошутил: «Говорят, можно писать «левой ногой».— И сразу посерьезнев, добавил: — Вы этого прежде не делали и впредь делать не советую!»

На вопрос: «Как живете, над чем работаете?» — я ответил Асееву, что вот, мол, выполнил полушутливое задание Маяковского, поддержанное им, одобренное Горьким,— написал ямбами поэму о Маяковском!

Асеев не просто заинтересовался, а искренне обрадовался. Вскоре я прочел ему свою поэму у него на квартире и внимательно выслушал все его дружеские замечания и советы. В главе, где я с оговоркой: «я только сердцем с ним дружил» — писал о личных переживаниях Маяковского, Асеев посоветовал после строк: «Он повторял у чьей-то двери, в чем сам признался не тая: «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я» — добавить строки Хлебникова, которые тоже любил повторять Маяковский: «Ты, как спичка о коробку, не зажжешься о меня». «Они по ритму подойдут!» — улыбнулся Николай Николаевич. По его совету я дал вступлением к поэме о Маяковском стихи, до войны еще напечатанные в журнале «30 дней», написанные вольным ритмом. «Надо показать читателю, что вы владеете не только ямбом!»

Асеев позвонил сестрам Маяковского. Они тоже прослушали и одобрили поэму. И в апреле 1947 года она была опубликована в журнале «Октябрь», там, где ровно десять лет назад появился первый отрывок из нее.

Одним из первых позвонил и поздравил меня Асеев. Недели через две, когда мы случайно встретились, он доверительно сказал: «Можете и меня поздравить. Перевел пьесу в стихах Яна Райниса «Вей, ветерок». Теплый ветерок повеял в мою сторону, согрел и материально и морально...» И вдруг спросил: «Ну, а вы-то переводами занимаетесь?» — «Ну как же, Николай Николаевич, с вашей легкой руки еще до войны занялся этим делом. А сейчас перевожу латышей и эстонцев, поэтов тех республик, где не так давно воевал».— «И за их

освобождение ранены были... А помните, как мы с Антокольским привлекли вас к переводам, а вы боялись переводить с языков, которых не знаете. Пока ваш «крестный отец», тогда еще живой, Максим Горький, не объяснил вам авторитетно, что для перевода стихов надо прежде всего знать язык поэзии!» — «Все помню. А вы мне наказали никогда не переводить без транскрипции и стараться передать в переводе не только содержание, но и звучание переводимых стихов. Интонацию поэта... Помню, как вы меня похвалили, когда я переводил сатирическую поэму армянского поэта Наири Зарьяна и прочел вам первую строку по-армянски: «Амен ич каргин э таньяки сегане» и по-русски в моем переводе: «Итак, все в порядке — графин со стаканом».— «Да, да... А вы до сих пор наизусть это помните? Молодец! Этот ваш перевод, кажется, был напечатан в «Красной Нови»?» — «Точно!» А «Красная Новь», первый советский толстый журнал, пользовался тогда огромной популярностью. У молодых даже поговорка была: «Жми, дави до «Красной Нови»!»

Асеев рассмеялся... Пожелал мне удачи в переводах и удачи в своем творчестве, пожелал написать еще одну такую поэму, как «Маяковский»

В середине пятидесятых годов я прочел Асееву первый вариант поэмы «Максим Горький» и был порадован его сердечным рукопожатием! А когда поэма была напечатана в марте 1955 года в «Литературной газете», он снова один из первых искренне поздравил меня. Такой человек был Николай Асеев!

Несмотря на приглашения, я, как прежде, стеснялся заходить к нему «мимоходом», отрывать его от работы. Но мы довольно часто встречались в Центральном доме литераторов. Однажды, в начале пятидесятых годов, на собрании в «Дубовом зале», во время выступления А. Фадеева, вспомнили, как в тридцатые годы Фадеев,

выступая в старом Клубе писателей, в том здании, где давно помещается Правление СП СССР, сказал, что поэты разных поколений и разных направлений враждуют между собой, на что Асеев, обняв сидящего рядом с ним И. Уткина, воскликнул: «Неверно, Саша! Не враждуем, а дружим!»

В самом деле, Асеев давно дружил с Уткиным. В этом я лично убедился, когда приехал проведать кого-то из них в санаторий «Узкое», где они тогда отдыхали. Молодой Уткин, увлекающийся спортом, шутя говоривший о себе: «Плаваю, как Байрон, играю на биллиарде, как Маяковский», обучил Асеева играть в волейбол, более того, пристрастил его к этой игре. Асеев потом даже написал стихи о волейболе и песню о спорте. Эта песня стала широко известна, и книга пародий А. Архангельского открывалась пародией на нее «Молодяне»:

Что же мы,
                    где же мы?
Неужто быть
                    несвежими
                                        и т. д.

Асеев добродушно отнесся к пародии и к сопровождавшей ее карикатуре Кукрыниксов, изобразивших его с бицепсом в виде пудовой гири.

Николай Николаевич бывал в гостях у Уткина. Встречал я его и на квартире у большого уткинского друга поэта Джека Алтаузена, героически погибшего на фронте в дни Отечественной войны. Встречались мы с Асеевым не только в Центральном доме литераторов, но и на заседаниях организованного Ф. Панферовым и Г. Санниковым объединения поэтов при журнале «Октябрь». Об этом я уже упоминал выше... Потом он стал появляться на людях все реже и реже... Когда я звонил ему, трубку брала Ксения Михайловна, иногда переда-

вала Николаю Николаевичу, иногда говорила: «Он отдыхает!»

Последний раз я видел его в июле 1963 года, стоя в старом здании Центрального дома литераторов, в «Дубовом зале», в почетном карауле у его гроба. Невольно вспомнились одобренные им когда-то мои строки о Маяковском: «Я зубы сжал до боли в скулах, // Стоял не вытирая слез. // Свои минуты караула, // Как тяжкий груз, шатаясь нес...»



ЛЕВ ОЗЕРОВ

МОЙ АСЕЕВ

Первый, кто серьезно рассказал мне об Асееве, живущем и работающем там, в Москве, был Николай Ушаков.

Дело было, наверно, в 1930 или 1931 году. Я уже знал ушаковскую «Весну республики» с предисловием Асеева. Ну, раз сам Асеев благословил эту книгу, значит... Значит много!

Узнаю, что Ушаков, ездивший из Киева в Москву, бывал у Асеева. С самим Асеевым беседует, читает ему стихи, слушает его! Ого!

Велики мои удивление и радость, когда узнаю: Асеев едет в Киев, будут его вечера. Едет вместе с Уткиным и Кирсановым. Год 1933.

Вижу и слышу Асеева. Впервые. Он читает напевно, распахнуто, свободно, как говорит. Волосяное, уже седеющее крыло сползает на лоб, движется, трепещет, повторяя все, что делает Асеев со своей головой. Вски-

дывает,— резким движением подбородка от левого плеча кверху и от правого плеча кверху. Рука скупо рисует то один, то другой виток стихового взлета. Я думаю: а не так ли читали здесь в древности — в пору Киевской Руси. Напев, лад, склад.

Ни сердцем,
ни силой
не хвастай...
Об этом лишь в книгах — умно,
а встреться с такой вот бровастой,
и станешь ходить как чумной.

Набираюсь смелости, оглядываюсь на соседей и — была не была — кричу с места, приставив руки трубкой ко рту:

— «Курские края»!

Огромные глаза Асеева, рассверкавшись во всю ширь своей серо-зеленой голубизны, срываются с высот, на которых только были, и смотрят в мою сторону. Легкий озноб, похожий на испуг. И сразу же становится тепло, слышу:

Хоть и у тебя немало мокрых
свежих рощ — лишь щеки утирай,—
я тебя не славлю, Курский округ,
соловьиный край.

Я уже знаю наизусть весь текст. Асеев читает, а я — в душе — вторю ему, иду за ним. Вот скорей бы это: «тенькавшие в донь колокола». Сколько раз я уже произносил и вслух и про себя вот это и следующие за этим строки:

Стойте крепче. Вы мое оплечье,
вы мои деды и кумовья,
вы мое обличье человечье,
Курские края.

Я еще не бывал тогда в курских краях, не видал, какие они, но стихи Асеева уже сделали их близкими и родными для меня.

Он породнил меня со своими дедами и кумовьями. Позднее к курянам добавились сибиряки — друзья Асеева, потом — вся Русь.

Он читал:

Что же мы,
                что же мы,
Неужто
        размоложены?
Неужто нашей юности
Конец пришел?
Неужто мы — седыми —
Сквозь зубы зацедили,
Неужто мы не сможем
Разогнать прыжок?

Он читал, и все его существо готовилось к прыжку. Не то с высоты в воду, не то с лыжного трамплина, не то в ракете ввысь неизведанную. Упругий ритм вырастал как пружина из глубин души поэта. Асеев — пел не пел, он ликовал и парил. Это была увлеченность и одержимость. Какая раскрытость души! Какой песенный разлив! Какая речь!

Все те дни только и разговоров, что об Асееве и о приехавших с ним поэтах.

А не пойти ли нам к нему?

Нам, нескольким начинающим стихотворцам, пишущим по-русски и по-украински, хочется показать себя приехавшим из Москвы поэтам, прежде всего, конечно, Асееву.

Узнаем: они остановились в «Континентале». Фешенебельная гостиница, в центре, на бывшей Николаевской, рядом с цирком. В этой гостинице я еще никогда не бывал — не приходилось. Но, проходя мимо, думал: важные персоны здесь останавливаются...

Входим в огромный номер. Ковры, диван у стены, кресла. Окна обращены во двор. Тихо, глухо, затемнено. Узнаю Иосифа Уткина, статного, несущего свою голову, как драгоценную вазу, наполненную благоуханиями (это определение, кажется, Луначарского), дарящего вам свою снисходительную, но не надменную улыбку. Все время кажется, что он скажет нечто о лорде Байроне. Он говорит мало, не часто удостаивая вас переливами своего очень приятного голоса. Почтительно обращается к Асееву на какой-то итальянский манер: «Никола̀»...

Быстрый, шустрый, кудрявый Кирсанов вбегает, выбегает, у него свои дела, он нами не интересуется. Поглядел на нас, кинул улыбку, пожалев, схватил ее обратно, зажал под мышкой — и убежал. Еще раз появился он уже в конце нашего продолжительного разговора. Появился, занятый своими делами, планами, договорами, своей славой.

Мы читали стихи по кругу. Асеев слушал, то подперев рукою подбородок, то стоя на коленках в мягком плюшевом кресле, то сев на стул лицом к спинке его, положив на него локти,— он любил, как я потом заметил, сидеть так.

Уткин величаво ходил по комнате. Он слушал, помня о себе. Асеев же слушал, себя не помня. Взгляд его был над головой читавшего, над крышей гостиницы, в глубине киевских небес, сливаясь с ними.

Мне повезло. Асеев, бегло сказав обо всех прослушанных стихах, остановился на моих. Это был цикл «Разговор по душам». Впоследствии затерянный, он уцелел в трех-четырех отрывках, из которых напечатано несколько строф. Асеев просил меня некоторые места этого цикла перечитать. Мой голос вписывался в разговор Асеева, как цитата в статью.

Дело не в похвале или хуле. Асеева что-то задело душевно в этих дневникового характера стихотворных

записях. Он за них зацепился и, вспыхнув, стал говорить о жизни, о Маяковском, о судьбе русского стиха, о языке. Много, очень много раз он упоминал Пастернака, под несомненным влиянием которого был написан мой цикл.

Поздней я понял, что Асеев спорит не столько со мной, сколько с Пастернаком. На расстоянии, но как с близким, кровным другом, о самом главном, о самом сокровенном.

Этот, начавшийся тогда разговор о Пастернаке длился у нас — уже в Москве и до и после войны — до самой смерти Николая Николаевича Асеева, до июля 1963 года, то есть без малого тридцать лет.

Итак, он говорил то о Маяковском, то о Пастернаке. И я понял, что самый счастливый момент его, асеевской, жизни: все трое дружны, молоды, обнадежены. И как несчастен был Асеев, когда Маяковский с Пастернаком разошлись. Он мысленно, душевно, все время пытался их сочетать, соединять, ставить рядом, но — разводил, сопоставлял, противосопоставлял.

Следить за монологами Асеева, которые я прерывал лишь изредка каким-либо своим вопросом или восклицанием, было для меня величайшей радостью, и я благодарен судьбе за такое долговременное и увлекательнейшее общение. Какую я видел привязанность к поэзии и службе стиха, к слову! Какой немеркнущий пример!

Часто и охотно говорил Асеев о Тычине. Переводил наизусть его стихи, особенно любил «Кожемяку», «Молодой я, молодой», которые перевел по моей просьбе, «Песню трактористки», первую и вторую, и некоторые другие. Он следил за работой друзей. Тычина, я знаю, относился к Асееву восторженно и по-братски. Я видел Асеева и Тычину во время их встреч и бесед. Они чувствовали друг друга и потому понимали друг друга с полуслова.

Я вызвал Асеева на написание статьи «Мой Тычина» — емкой и тонкой; без нее, мне кажется, невозможно познание творчества украинского поэта. Когда я написал Тычине о последней болезни Асеева, он прислал мне стихи и просил отнести их Николаю Николаевичу в больницу. Но стихи эти опоздали...

За три дня, за два дня, за день до смерти в палате больницы «Высокие горы», что неподалеку от Курского вокзала (снова Курск!) Асеев, бледный, измученный, отрывая ото рта трубку с кислородом, говорил:

— Прочитайте «Спекторского»!

Читаю: «Не спите днем. Пластается вдоль стен...»

— Не то! Вступление.

Начинаю: «Привыкши выковыривать изюм». Асеев подхватывает. Читаем в два голоса.

— Нет, больше не надо. Здесь страшные строки. «И отчужденьем превращенный в дуб»... Сейчас... И он долго кашляет. Некоторое время лежит закрыв глаза. Отходит, но с еще закрытыми глазами говорит:

— Как писал Боря!

Чувствуется: даже сейчас продолжается его нескончаемый душевный разговор-спор.

Сколько было в жизни таких «вставных новелл» на путях наших бесед и споров о поэзии, о Пастернаке, о Маяковском и Хлебникове.

Вот такое. Несколько раз, подразнивая, что она знает, а я не знаю, читала мне Рита Райт стихи Пастернака «Записки завсегдатая трех четвертей четвертого». Где? Когда? Откуда? Она не помнила или сохраняла для своих воспоминаний. Каково же было мое удивление, когда, узнав, что я готовлю собрание стихов и поэм Пастернака для «Библиотеки поэта», ко мне пришел С. Е. Мотолянский и показал мне эти стихи да еще с добавлением прозы: «Дорогой и драгоценный друг мой! Однажды и раз навсегда узурпировал ты слово «брат»,

и однажды раз навсегда зажал им мне рот». Вернее, там сперва шла проза, а вслед за ней стихи.

Знаток поэзии, библиофил, по специальности градостроитель, С. Е. Мотолянский рассказал мне, что еще задолго до войны списал пастернаковскую надпись на книге «Сестра моя жизнь», подаренной Асееву. Как выяснилось, Асеев в свою очередь подарил эту книгу одной ленинградке[1]. У нее-то С. Е. Мотолянский списал эту надпись. Книга пропала в дни блокады Ленинграда.

С отпечатанным на машинке текстом являюсь к Асееву.

— Это что еще за надписи! Находки! Почерк! Чем вы занимаетесь! Стихи надо писать. Не отвлекайтесь!

— Николай Николаевич! Только вы и можете мне удостоверить, пастернаковский текст это или нет.

— Не буду!

— Это нужно для дела. Понимаете, для однотомника Бориса Леонидовича.

— Зачем? Хватит того, что он написал.

— И все же...

Большая пауза.

— Николай Николаевич,— это я, умоляюще.

— Читайте! — это он, вспыхнув, решительно.

Медленно читаю. Голова Асеева опущена на грудь. Вижу его седину, оттеняющую темно-синий спортивный костюм с белой полосой.

— Это? — спрашиваю, закончив чтение.

Долго голова не поднимается. Жду. Потом вскидывается голова, как будто Асеев собирается читать стихи. Подбородок отрывается от левого плеча и по косой идет кверху — быстро, молодо.

— Да, это,— говорит он с неожиданной лаской. Глаза его сверкают, он глядит поверх моей головы, поверх крыши дома, что напротив, рядом с МХАТом, и упира-

---

[1] Испанистка-филолог Эрнестина Иосифовна Левинтова.

ется иссиня-серым взглядом в московское небо.— Да, это!

— Тогда напишите здесь, что верно.

Даю Николаю Николаевичу лист. Он пишет: «Верно» и ставит подпись.

Сейчас уже нет в живых ни Асеева, ни Мотолянского. Пропала и книга с надписью Пастернака. Вовремя удалось спасти от забвения текст, который сейчас приведен в собрании стихотворений Пастернака, выпущенного в 1965 году «Библиотекой поэта» в Большой серии.

Перед тем как отвезти рукопись этой книги в Ленинград, я побывал у Асеева. Это было, очевидно, во второй половине декабря 1962 года. Асеев обрадовался, что у Пастернака будет такая книга, и на радостях написал письмо в то время главному редактору «Библиотеки поэта» В. Н. Орлову. Он просил два тома, мотивируя это тем, что пухлые однотомники тяжело раскрывать, тем более держать в руках.

Я уже собирался уходить, но вот, лежа на диване и, видимо, устав или плохо себя чувствуя, Николай Николаевич сказал мне:

— Подойдите к моему письменному столу. Подошли. Теперь откройте верхний ящик справа. Открыли. Возьмите толстую серую папку. Взяли. Как вы хорошо понимаете, когда к вам обращаются по-людски. Теперь откройте папку и возьмите конверт. Какой же? Погодите. Не этот, нет. Вот этот! Откройте его. Открыли. Вы видите — несколько писем и открыток Бори. Все, что осталось. Многое пропало. Возьмите. Не взыщите.

— Что вы! — удивился я.

— Берите! — почти приказывая, сказал Асеев. Детей у меня нет, архива не собирал. Я вижу, как вы любите Бориса Леонидовича, сколько лет положили на него, на его издание. Это ваше.

Благодарю, иду, не чувствуя под собой земли и все время заглядываю в портфель, в папку: а там ли письма. Там!

Иду по первопутку памяти. Не оглядываясь.

Сейчас на мгновенье оглянусь.

Между встречей в «Континентале», годом 1933, и встречами в Москве, годами 1935—1936,— пауза. Покидаю Киев, поступаю в 1934 году в Московский институт истории, философии и литературы.

Первая встреча в Москве — неожиданно — на катке. Петровка, на площадке, окруженной домами центра, стадион «Динамо». Узнаю Асеева в синем с белой каймой спортивном костюме. Неподалеку катается Уткин. Импозантен, величав, руки за спиной — такой конькобежный шик.

Подъезжаю к Асееву, напоминаю о себе. Не уверен, что вспомнил. Читаю строки. По строкам вспомнил.

— Ах, как же! И вы здесь!

Катаемся рядом. Потом я об этом напишу: «с тобою рядом ездит соратник Маяковского». Мне лестно. Асеев увлечен коньками, кружащимся снегом, катающимися. Он в ритме катка. Цвет глаз перекликается со льдом, только взгляд сильно подсинен. Доволен.

— Так заходите! — кричит мне Асеев на прощанье.

И я приезжаю к нему из останкинского общежития. Захожу год, другой, много лет.

— Читайте. Довольно разговаривать.

Читаю, Асеев наизусть произносит одну-две строки из прочитанного.

— А все остальное надо дотягивать. Не то. Вы еще себя очень щадите. Работы не вижу.

Потом я понял, что он меня накалял. В поэзии холодным способом металл обрабатывать нельзя. Надо держать его на огне. Долго.

После окончания института я некоторое время работал в «Правде». Я приходил к Асееву за стихами. Он

читал мне свежее, только что сложенное, заодно с этим — куски из поэмы «Маяковский начинается». Он тогда увлеченно работал над ней. Помню куски о Хлебникове, Пастернаке, Крученых.

В редакции «Правды», в кабинете Е. М. Ярославского, состоялось обсуждение поэмы, организованное, кажется, Трегубом. Спокойный, с толстыми седыми усами, зажавшими выразительный нос, Ярославский, поглядывая ласково на окружающих, долго слушал поэму. Потом он тихо заметил, что не следовало бы футуристов приравнивать к революционерам, чуть ли не большевикам, а из поэмы явствует, что автор именно к этому клонит. Асеев говорил возбужденно, сверкая глазами, запальчиво, он покинул свое место за столиком автора, приблизился к столу Ярославского, но не сел в кресло, а уперся в него коленками — как-то по-юношески. Он и выглядел юношей рядом с солидным, седовласым и пышновласым Ярославским. Рукопись, свернутую в трубку, он держал перед собой, как бокал, наполненный пуншем. Вспоминались его же «Синие гусары». Долго длилось это обсуждение. Ярославский оставил вопрос нерешенным, но чувствовалось, что Асеев ему понравился.

Долго Асеев удерживал меня от печатания. Давным-давно мои сверстники выступили с книгами. А я все еще был устной словесностью. В двух-трех московских домах да в Киеве на каникулах я прочитывал новое. Несколько стихотворений прошло в «Октябре» у Сельвинского и в «Новом мире» у Зенкевича и Антокольского. Асеев отнесся сдержанно к этим стихам.

— Я от вас жду потрясений...

Мне хотелось потрясти Асеева. Сперва я помнил об этом. Потом забыл. И так случилось, что вскоре после войны я прочитал ему стихотворение «В клубе с. Новотарасовка».

Сегодня в сельском клубе
танцы под гармонь.
Стоят вдоль стен девчата,
а музыка — огонь.

А музыка зовет их —
иди, пляши, кружись!
Ну, как она, девчата,
молодая жизнь?

Вступают в танец девушки
деловито, зло.
Молчат и не глядят на тех,
кому повезло.

Двоим из тридцати восьми
сегодня везет.
Двоих из тридцати восьми
кавалер ведет.

Картина первых послевоенных лет. Я это видел в одной из деревень и на месте написалось об этом. Очень быстро, так быстро, что я не заметил, как написалось.

— Это не стихотворение, а фреска. Прочитайте еще раз. Выхватили прямо из жизни.

Он долго меня не отпускал.

— Вам надо сбросить с себя бурсацкое, ученое. Распахнитесь! Вот так, как в этом «Сельском клубе». Одновременно рисуйте, пойте, думайте. Не раздельно, а синхронно. Сумеете?

После этого я все написанное читал Асееву. Он ревниво следил за мной. Если встречал в печати переводы или статьи, ворчал:

— Зачем? Надо свое писать. За вас никто не напишет. А литовцев переведут другие...

На первое совещание молодых писателей, которое состоялось в феврале 1947 года, Асеев пригласил меня и Шкловского в качестве своих помощников. В самом начале занятий, едва Асеев огласил его порядок, произошла моя шумная стычка со Шкловским, во многом послужившая в дальнейшем добрым отношениям с ним.

Мы еще не знали своих семинаристов, но уже обнаружили перед ними свою вспыльчивость и непримиримость. Занятия протекали весело, шумно, долго. Асеев впервые вынужден был выступить в роли примирителя. Он много и увлеченно говорил об истории русского стиха, читал наизусть поэтов от Державина до Блока. После занятий собеседования продолжались на улицах Москвы. Мы шли от Ильинских ворот по площади Дзержинского, по Пушечной, Кузнецкому, в Мхатовский проезд к дому Асеева.

Он шагает легко, читает. Рад медленно кружащему снегу. Он читает в такт этому снегу. Любит почувствовать легкость тела: молодецки на каблуке поворачивается и смотрит прямо в лицо: ась! Озорное сквозит в нем, выпрыгивает наружу. Игрок, что-то рисковое. Любил рассказывать, как однажды крупно, очень крупно выиграл в карты. Маяковский завидовал этому выигрышу Асеева. Не мог простить ему этого. Ночь, идут двое по Никитской — Асеев и Маяковский. У Кудринской прощаются, Асеев переходит площадь и слышит, как в спину кричит ему Маяковский: «Колька, сволочь!» После паузы Асеев, рассказывавший это, добавляет: «Сколько детской нежности было в этой басовитой брани!»

На мою книгу «Признание в любви» (1957) Асеев откликнулся рецензией, которая была напечатана в «Труде» в сокращенном виде и целиком в его книге «Кому и зачем нужна поэзия?».

Рукопись книги «Светотень» я показал Асееву перед тем, как относить в издательство. Он сказал мне, что хочет ее редактировать и, может быть, напишет к ней предисловие.

Позднее, когда рукопись была уже в издательстве, он позвонил директору и сказал то же, что и мне. Но издательство-то не захотело этого.

Любил Асеев озадачить:

— Чьи строки? (Читает.) А? Не знаете? То-то же. А я думал, вы знаете. Позвоню Давиду Бродскому, тот все помнит.

Любил Асеев поддразнивать. Особенно в присутствии женщин. По телефону говорит:

— А вот нет, чтобы так вот сорваться с места и привезти дюжину пирожных безе, а заодно полюбезничать с интересной женщиной (несколько слов в сторону собеседницы, слышен и ее голос). Ну как?

Он был вынужденным домоседом. Только летом он уезжал на свою Николину гору, на дачу.

Болезнь изводила его. Но собеседник никогда не чувствовал, что ночью было кровохарканье, бессонница, боль.

Однажды прихожу к Асееву в сумерки. Он лежит. Отходит от болезни и сразу же говорит мне:

— Знаете, меня не пилюли вылечили, а четыре строчки Хлебникова.

— Какие?

Асеев читает с наслаждением:

И тополь земец,
И вечер немец,
И море речи,
И ты далече.

Несколько раз прочитал Асеев раздумчиво и ласково это четверостишье и разобрал каждую его строку.

— Каждая строка — эпопея.

Хлебникова он знал от строки до строки. Пропускал через себя — причем часто — весь его пятитомник. И потом опрокидывал на слушателя. Разбирался в текстах Хлебникова, как глубокий исследователь.

— Знаете, «Уструг Разина» напечатан в книгах неверно. Вещь смонтирована без автора и произвольно. По-моему, сперва идет кусок: «По затону трех покойников», потом идет кусок «И плахи медленные взмахи»,

потом «Их души точно из железа», потом «Здесь все сказочно и чудно». И вся поэма кончается на строке: «Ляля буйного донца».

— А начало? — спрашиваю.— «Где море бьется диким Неуком»?

— Это чужое здесь, не отсюда.

— Странно. Я так привык: «С укором к небу подымал свои глаза большой воды»...

— Мало что вы привыкли. Отвыкайте! Я еще восстановлю истинного Хлебникова...

Часто читал один кусок из «Разина», читал упоительно, широко, сверкая серо-зелено-голубыми, как море, глазами, читал, как Боян, забредший в современность:

Атаман свободы дикой
На парчовой лежит койке
И играет кистенем,
Чтоб копейка на попойке
Покатилася рублем.

— В моем издании «А отец свободы дикой».

— Мало, что там у вас. Хлебников читал «Атаман». Вслушайтесь — и вы поймете. А какая живопись звуковая: «Чтоб копейка на попойке». Так и слышишь и видишь: катится монетка...

Гостя Асеев любил потчевать стихами — своими и чужими. Либо очень понравилось, либо очень не понравилось. Так в последние годы каждый пришедший к нему должен был проглотить строк 200—300 Сосноры, в котором Асеев вспоминал свою молодость, свое начало. Многих он сумел влюбить в Соснору и перетянуть на его сторону.

Самым молодым слушателям, еще в пору ведения семинара в Литературном институте, читал Державина, Пушкина, Языкова, Тютчева, Дениса Давыдова, Фета. Читал по книге и наизусть. Обращался к прозе. Чаще других к Достоевскому.

Он был нервозен и вспыльчив. Не все можно относить за счет болезни. Его волновали дела литературные, неполадки, неурядицы. Боялся бюрократизации живого дела. Вспыхнув, надолго заводился. Тогда-то доставалось литературным чиновникам всех рангов. Асеева побаивались. Его мнение становилось молвой, обрастало кривотолками, уродовалось. Про себя держать свою взрывчатку и сидеть молча он не мог.

Так родилась его «Литературная панорама» — цикл эпиграмм и пародий, еще не опубликованных, его статьи и заметки.

— Послушайте! Узнаете?

Он был капризен. Это нельзя было забывать.

— Вы, Николай Николаевич, как пена на пиве. Пока дотянешься до питья, губы устанут.

Смеется: «Разве?» Но это «разве?» уступчивое, желающее понять, в чем же дело.

Из Дубулты пишу письмо Асееву: прочитал его статью о Вознесенском, нравится.

Через некоторое время Асеев выступает с противоположной точкой зрения на Вознесенского. Помнится: многие отшатнулись от Асеева. Я долго не звонил ему. Позвонил он.

— И вы?

— И я! — отвечаю.

— Приходите, надо поговорить.

Прихожу, открывает дверь Ксения Михайловна. В передней слышу: Николай Николаевич разговаривает по телефону.

Постепенно становится понятным, что на другом конце провода Лиля Юрьевна Брик. Разговор о том же Вознесенском. Ссорятся. Асеев возбужден. Свое возбуждение обращает ко мне. Я выдерживаю натиск, набираюсь терпения. Устав, Асеев садится на диван, и я слышу хрипы в его дыхании.

— Ну, что скажете?

— Что скажу?.. Ну, допустим, изменилась в корне ваша точка зрения на предмет. Допускаю. Вы повернулись на сто восемьдесят градусов. Так, но вы должны сообщить читающей публике, что именно произошло с вами со времени предыдущей статьи. Кстати, небольшого времени.

— Я говорил Вознесенскому. Звонил его маме.

— Маме? А почему не читателям?

Долгая пауза. Ему неприятно. Меняем тему разговора. Провожая меня, говорит:

— Все-таки время от времени говорите мне истинную правду... Черт знает что! — говорит он смачно, ни к кому не обращаясь.— Но мы понимаем друг друга.

Он как мембрана — всегда в трепете, в напряжении. Легко возбудим. Умел в разговоре менять регистры. Далеко зашел в восторг, пускает в ход иронию. Наиздевался — ищет выхода в доброжелательности. И всегда неизменно выруливал от прозы к стихам, к поэзии. Натура артистическая, подверженная настроениям, прихотям сердца.

В последние годы вставал над своим артистизмом, лукавством, игривостью и бывал гневен и взрывчат. Многое, очень многое в литературе хотелось ему изменить, переставить, переиначить. Не потому, что был опыт его двадцатых годов.

— Какая мерзость! Сам автор хлопочет о рецензиях на свою книгу. Готовит, организовывает славу. Просит. На днях такого просителя спросил: «А что, если я напишу отрицательный отзыв? Вы это допускаете или нет?» Говорит, что это все ему надо, чтобы пройти в Союз писателей... «Ну, а достойны ли вы этого?» Молчит. Смотрит на меня — мол, Асеев сошел с ума...

К нему ходили молодые. Он присматривался, отбирал, думал. Его беспокоили судьбы поэзии и пути поэтов.

— На днях у меня было несколько человек. Некоторых я знаю по предвоенным годам. Они идут под именем военного поколения. Пока что это общее наименование им поможет, они будут настаивать на нем, к ним примкнут и другие люди. А потом... а потом...— Асеев весело вскидывает голову,— знаете, что будет потом?..— Долгая пауза, Асеев и не хочет, чтобы я отвечал на этот вопрос.—...А потом они начнут тяготиться этой принадлежностью к поколению. Им захочется — каждому из них — особой приватной славы. Нельзя же существовать в литературе списком. И они начнут с болью отлипать друг от друга...

Знал это по себе. Сам-то Асеев много, охотно и всегда изобретательно, ново и неистощимо говорил о Маяковском и об его школе. Но когда об его общности с Маяковским заговаривал другой, он чаще всего был недоволен. И действительно, наступило время, когда можно и нужно было раздельно говорить о Маяковском и Асееве, когда в большей степени, чем раньше, проступали их различия.

После книги «Лад», после юбилейных дней, он был тих и занят работой. Никакого внимания к почестям и шумихе. Десятки рецензий на «Лад», предварительные поздравления, радио, телевидение — все шло помимо усилий и желания Асеева. Наконец-то прошла, пролежав в «Литературной газете» четырнадцать месяцев, моя статья об Асееве (на двухтомнике своем Николай Николаевич написал мне: «Льву Озерову, который бился за меня, как Лев... Озеров»). Наконец-то с легкостью необычайной прошла моя телевизионная передача (слово о поэте, выступления актеров; Асеев, после того как я вернулся из телестудии домой, позвонил мне и сказал, как он был взволнован, слушая и глядя).

Утром я был у него. Говорили о поэзии. Один только раз Асеев коснулся больной темы: мол, все к лучшему, а не то—сколько пришлось бы выслушать фаль-

шивых и лицемерных приветствий... от скольких ханжей случай его избавил...

Летом 1961 года, в июне, я взял с собой огромный букет цветов, купил газеты, в которых были статьи и заметки об Асееве, и поехал на Николину гору.

Ясный день. Птичий щебет. Дача в сосновом затишье... «Вей, ветерок» назван Асеевым этот дом — по названию переведенной им пьесы Райниса. Открыла мне Вера Михайловна, одна из сестер Ксении Михайловны.

Второй этаж, огромная комната, светло. Асеев лежит, он очень бледен. Всю ночь не спал. Боли. Принятые лекарства — а их множество — уже не врачуют, а вредят. Об этом Асеев не говорит. Об этом я узнал от Веры Михайловны. Асеев просит меня сесть так, чтобы он видел меня. Ему трудно даже повернуть голову. Читаю ему статьи, он прерывает меня вопросами, вовсе не к ним относящимися. Потом он говорит мне, что все это ему неинтересно. И мы начинаем говорить на обычные наши темы: Хлебников, Пастернак, Маяковский. Уходим в девятнадцатый век...

Так я просидел у Асеева до вечера. Никто в этот день не приехал. Вечером вернулась из города Ксения Михайловна, привезла огромную почту, поздравления. В электричке я думал: что же это такое? Бурная жизнь в литературе, столько друзей и учеников и — такое одиночество! Скольким людям помог, скольких вдохновил и — такое одиночество! Уходит из жизни человек, составивший эпоху в нашей поэзии. И — такое одиночество! Мне было страшно...

Одинокий Асеев? Можно ли в это поверить? Он, окруженный людьми, составлявшими круг Маяковского, перенесшими и на него, Николая Николаевича, свой восторг и трепет. Он, общительный, любящий молодежь, споры, вопросы, ответы на ходу, в любой аудитории, едкие, точные, без цитат и ссылок на авторитеты.

Одинокий Асеев? Но ведь рядом Ксения Михайловна, знавшая причуды и капризы мужа, досконально изучившая прихотливейший график работы, трехсменной работы этого человека, не ведавшего отдыха и не желавшего о нем слышать. Были пять сестер Синяковых — сестер жены,— ставших для Асеева одной семьей, вместе с их мужьями и родственниками. Были и товарищи...

Но — когда речь заходит об одиночестве, надо понимать его не в обиходном смысле слова, а широко. Здесь драма поздних лет. Человек в единоборстве с болезнью — тяжелой, иссушающей, неотступной. Человек в единоборстве с возрастом, со старостью, ибо Асеев — поэт юности, отрочества, молодости, молодых сил, пружинящих мускулов, отваги, преодоления — не хотел сдавать позиций...

Дума старого человека — не стареть, не уступать, голос должен звучать по-прежнему чисто. Во всем должен быть «лад». Название книги поздних стихов Асеева «Лад» как нельзя более соответствует его натуре, стати, характеру. Лад вяжет его с древними певцами-сказителями, со «Словом о полку» — его любимой песнью, с ладом нового времени — с Маяковским, с новизной послемаяковской эпохи. Лад нельзя было терять. Для этого надо стоять на посту у собственного сердца. Этот пост несменяем. А единоборство со словом — это же в одиночку, и не только у Асеева в одиночку,— таков закон поэтического мастерства.

Не надо пугаться этого слова — «одиночество». Оно здесь не социального порядка. Но оно вносит драматический, я бы даже сказал, героический момент в жизнь старого, больного, верного своему призванию поэта.

В позднюю пору он не любил шумиху и показуху. С легким сердцем он отказался от юбилея и чествования. От вечеров, докладов, тостов. Долгое время в сейфе В. Н. Ильина, ответственного секретаря московской

организации писателей, лежал заготовленный к юбилею Асеева адрес с множеством подписей. Асеев не приходил за ним, никого не посылал. Адрес лежал так долго, что Ильин придумал такой выход: Леонид Мартынов, Борис Слуцкий и Лев Озеров с этим адресом как бы невзначай, случайно приходят к Асееву и вручают его ему.

Так и было сделано.

Как всякий одинокий человек, он жаден до людей, до общения, широко раскрывается в разговоре. Доверителен редко, но если решил доверить, то — от всей души.

Это же чувство преодоленного одиночества во время последней болезни; кроме Ксении Михайловны и меня, никто у Асеева в больнице не бывал. Николай Николаевич лежал в своем синем спортивном костюме — очень сосредоточенный, внимательный, чуткий. Он не говорил ни о болезни, ни о смерти.

Я у него бывал почти каждый день. Врачи ничего успокоительного не могли сказать. Легких нет. На что надеяться? Дело было так плохо, что когда я 26 июня пришел с букетом, чтобы поздравить Николая Николаевича с днем рождения, оказалось, что впервые в жизни и он и Ксения Михайловна забыли об этом. Они тихо сидели на постели, беседовали. Я боялся нарушить их разговор и попытался уйти, но они меня придержали. Это были значительные минуты. Николай Николаевич даже встал, подошел к столу, сам ел кашу, долго и пристально смотрел на цветы. Может быть, сейчас мне и отблагодарить его за ласковость, за внимание. Начинаю что-то говорить. Жалкий лепет! Умолкаю.

Когда Ксения Михайловна отлучилась из палаты, Николай Николаевич очень по-доброму говорит мне о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, с которым он был в долгой дружественной переписке и по поводу «Слова о полку Игореве», и по поводу поэзии и русской речи во-

обще. Асеев просил меня написать Лихачеву об этой беседе и передать ему нежный привет. Он не сказал «прощальный». Он не сказал «когда меня не будет».

— Я не могу... Вы...

Сказано просто, очень просто. Деваться некуда. Я причастен к какой-то невыразимой в словах жизни. Жизни явно завершающейся.

Конечно же я написал Д. С. Лихачеву, с которым не был знаком, письмо. Позднее, месяца через полтора после смерти Асеева, я получил от него ответ, который многое прояснил мне в отношениях двух людей и кажется мне настолько важным, что я должен привести его здесь целиком:

«Дорогой (позвольте Вас так называть) Лев Адольфович!

Ваше письмо мне очень дорого. Прощальные слова Николая Николаевича для меня очень значительны.

Вот что было. В марте и апреле я был при смерти. Лежа на больничных койках, я много думал о смерти, но беспокоился не за себя, а почему-то за Николая Николаевича. Я был совершенно уверен, что он должен скоро умереть, хотя ничего не знал о его болезни. Мне очень хотелось его утешить. Когда я вернулся домой, я написал ему большое письмо о времени — как я его понимаю. Но не получил от Ник. Ник. ответа. Я решил, что он почувствовал мою мысль о его скорой смерти и обиделся на меня за мое отсутствие такта (хотя письмо было очень осторожное, отвлеченное). Тогда я написал ему короткое бытовое письмо и получил ответ, что он хворает (письмо его тоже было короткое). Хотя ответ его и был ласковый, но я все мучился за свое большое письмо о времени. И вдруг прочел в газетах, что он умер. Смерть его меня поразила неожиданностью, какой-то частью своей души я не верил все же в его смерть. И вот его привет в Вашем письме! Значит, он все понял и понял, что я мучаюсь. Это удивительно!

Не написать ему того большого письма я не мог: у меня была неодолимая потребность его как-то утешить.

Еще раз — большое Вам спасибо.

С самыми горячими пожеланиями Вам новых успехов и с дружеским приветом. Д. Лихачев».

За несколько дней до смерти Асеев мне сказал:

— Вы потом (легкий взмах руки) посмотрите мои бумаги...

Асеев кладет палец на губы, ласково глядит в упор и сразу же начинает разговор на совсем иную тему. Его артистизм имел своим основанием мужество и веру в бессмертие поэзии. Он воспламенялся, когда начинал читать стихи — свои и чужие, когда говорил о поэзии, о русской речи. Серо-голубая синева его глаз озарялась изнутри.

Вижу эти глаза, слышу этот голос и чувствую, что передать в слове свое ощущение не могу. Не могу. Единственное утешение — в стихах Асеева запечатлены и живые переливы его голоса, и цвет его глаз, и щелк и гром курских соловьев, услышанный поэтом в малолетстве.

Новые поколения так и будут видеть и слышать своего поэта — читая стихи. А те, кто имел счастье видеть и слышать его самого, дадут волю памяти. Но и она непрочна. Из ее глубин выплывает то одно, то другое. Память ведет себя, как природа, обнаруживая одну сторону свою или некоторые из сторон, никогда не показывая себя целиком, а только внушая надежду на это.

Асеев продолжается. Я написал об этом стихи.

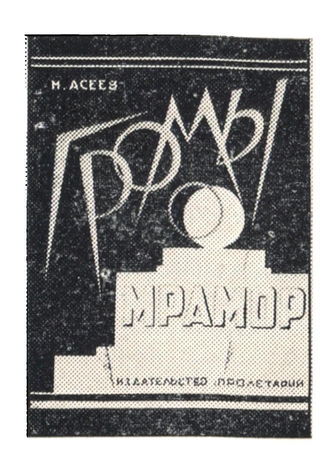
Говоря откровенно, друзья,
Без Асеева мне нельзя.
Мне нельзя без его хулы,
А еще — без его похвалы,

И без строгой его доброты,
И без доброй его прямоты.
Он на место поставит меня:
— Без строки не живи ни дня,
От словес отличай слова —
Вот где таинство мастерства!
Нет занятья у нас полезнее:
От стихов отличай поэзию!

...На Асеева я смотрю,
Как на этого дня зарю.
Седина его в синеве,
А ступни в росистой траве.
На бумаге — его рука,
Под рукою — его строка.
Признаю его старшинство
Не за долгие годы его —
За его рабочую стать,
За уменье над возрастом встать,
За желанье работать впрок,
Как синоптик и как пророк.

Признаю его добрую власть
За уменье трудиться всласть
Без оглядки на божество
И без ссылки на большинство.

Нет, товарищи, нет, друзья,
Без Асеева нам нельзя.



ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ

БЕСКОНЕЧНЫЙ СОНЕТ АСЕЕВА

Проезд Художественного театра. Дом 2. Лифт...

Ксения Михайловна, та самая, что, назвавшись ему Оксаною, «шла ветрами по весне», любезно открывает дверь, и я, перешагнув порог, вхожу в свою семнадцатилетнюю юность.

Много лет назад, окончив в Харькове семилетку, я приехал в Москву и поспешил к Николаю Николаевичу, с которым познакомился в один из его столь частых приездов на Украину. Войдя в прихожую, я отразился тогда вот в этом узком, продолговатом зеркале, прикрепленном к дверному косяку. Отразился точно так же, как и сейчас, да только увидел в зеркале несколько иное лицо... Шутка сказать: в эту квартиру я впервые вошел целую жизнь тому назад!

Помню, хозяин квартиры пригласил меня в свой кабинет и мы сели вот у этого, закрывающегося сверху выпуклой крышкой стола. (Точно такое же бюро было у

Маяковского.) До того я никогда не видел таких столов, заинтересовался, и хозяин продемонстрировал, как можно все, что лежит на столе, сразу закрыть и даже запереть на ключ.

— Очень удобно. Рукописи не надо прятать в ящик.

Мне понравились и полки этого бюро, делающие стол многоэтажным. На полках лежали бумага, ручки, карандаши, книги, а поверх всего — лампа. Опять-таки такая же, какую сейчас можно увидеть в мемориальном кабинете Маяковского.

— Курите?

— Нет. Спасибо.

— И отлично делаете.

Николай Николаевич выдвинул нижний ящик из тумбы стола: аккуратно сложенные пачки папирос «Беломор-канал», тогда только выпущенных.

— Видите! — сказал Асеев.— А вот — результат.— И, неожиданно задрав штанину, указал на вздувшиеся вены на голени.

— Зачем же курить?

— Пробовал бросить. Не получается.

Так началась наша по сути первая встреча, потому что харьковская, мимолетная, гостиничная — не в счет.

Бюро и папиросы оказались затравкой для разговора.

А сам разговор начался с Бориса Пастернака.

Как раз тогда, летом 1932 года, огромным для поэтических сборников того времени тиражом (свыше 5000 экз.) вышла книга Пастернака «Второе рождение» (на обложке — черная крышка рояля, цветок и клавиши).

Асеев первым заговорил о ней, и по всему чувствовалось, что книга занимала его думы и он вел с ее автором внутренний спор. Книга раздражала и восхищала

его. Особенно резко он полемизировал со стихотворением, написанным на смерть Маяковского.

— Зачем этот страшный, роковой выстрел приравнивать к Этне, величественному вулкану?! А внизу кто?

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих...

Асеев прочел эти строки с явным неодобрением, даже, как мне показалось, с обидой.

В другом стихотворении его возражение вызвало сравнение женщины со случаем и то, что случай поставлен в один ряд с такими понятиями, как опора и друг.

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердце не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Я сказал, что, захваченный энергией стиха, не вник в это сравнение.

— Надо, товарищ, понимать стих до последнего штришка! — подчеркнуто холодно, с официальным обращением «товарищ», возразил Асеев.

Для меня был новостью самый факт полемического, а в некоторых случаях даже раздраженного отношения Асеева к книге Пастернака. Мне почему-то казалось, что их давние дружеские отношения, о которых я знал раньше, гарантируют единство творческих позиций. На деле же все было гораздо сложнее. Многолетняя дружба отнюдь не способствовала творческому согласию.

После долгого разговора о «Втором рождении» я попросил Николая Николаевича прочесть что-либо свое, новое. Он весьма охотно согласился. Это были стихи о Неаполе, из которых сразу же и на всю жизнь запомнилось:

Город плещет детьми и листьями,
Вечным кратером опаляем,
Шелестя над заливом мглистыми,
Островерхими тополями.

Последнюю строчку Асеев произнес, изобразив пальцами над головой шлем, и задорно посмотрел: вот, мол, как!

А я себя поймал на том, что мне с ним очень свободно.

Я как-то забыл о том, что передо мной — большой поэт, мой учитель. Он вел себя со мной, как равный с равным, а кем я, собственно, был для него тогда? Да никем! Такие, как я, тогда целыми стаями толпились вокруг него. А он вел со мной серьезный разговор о Пастернаке, о поэзии, будто я его давний друг...

Эта особенность Асеева всегда меня восхищала.

В ее основе была любовь ко всему настоящему в искусстве. Любовь захватывающая, восторженная, всеобъемлющая. Он хвастал чужими стихами, если они ему нравились, наслаждался ими и заряжал ими других. Он с упоением, по-детски играя любимыми строками, читал:

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Это — из «Спекторского» Пастернака.

А однажды он мне сразу, с места в карьер, как только я перешагнул порог его гостиничного номера, сказал:

— Слушайте, что недавно написал Уткин!

И тут же прочел наизусть «Мальчишку шлепнули в Иркутске». Прочел так, будто сам только что написал эти стихи. А вечером того же дня, выступая в харьков-



Н. Асеев — ученик реального училища в г. Курске. 1909 г.



Н. Асєев. Москва. 1914 г.



Н. Асеев. 1916 г.



Дальневосточная группа «Творчество». 1922 г. Чита. Стоят (слева направо): В. Пальмов, Н. Чужак, М. Аветов, П. Незнамов. Сидят (слева направо): Н. Асеев, С. Третьяков, В. Силлов, О. Петровская.

На даче Маяковского в Пушкино. В. Шкловский, В. Маяковский, Л. Краснощекова, Н. Асеев и другие. 1924 г. *Фото А. Родченко.*



Проводы Маяковского перед его отъездом в Берлин. Апрель 1924 г. Стоят (слева направо): А. М. Родченко, В. В. Маяковский, А. М. Лавинский, М. Е. Кольцов, Л. А. Гринкруг. Сидят (слева направо): А. С. Левин, М. Ю. Левидов, Н. Н. Асеев, В. Б. Шкловский, Б. Ф. Малкин. *Фото А. Родченко.*



Н. Асеев с женой — К. М. Асеевой. 1924 г.



Н. Асеев. 1926 г. *Фото М. Наппельбаума.*



Н. Асеев, М. Горький, Я. Ганецкий. Сорренто.
1927 г.



С. Кирсанов, А. Родченко, Н. Асеев в мастерской А. Родченко. 1931 г.



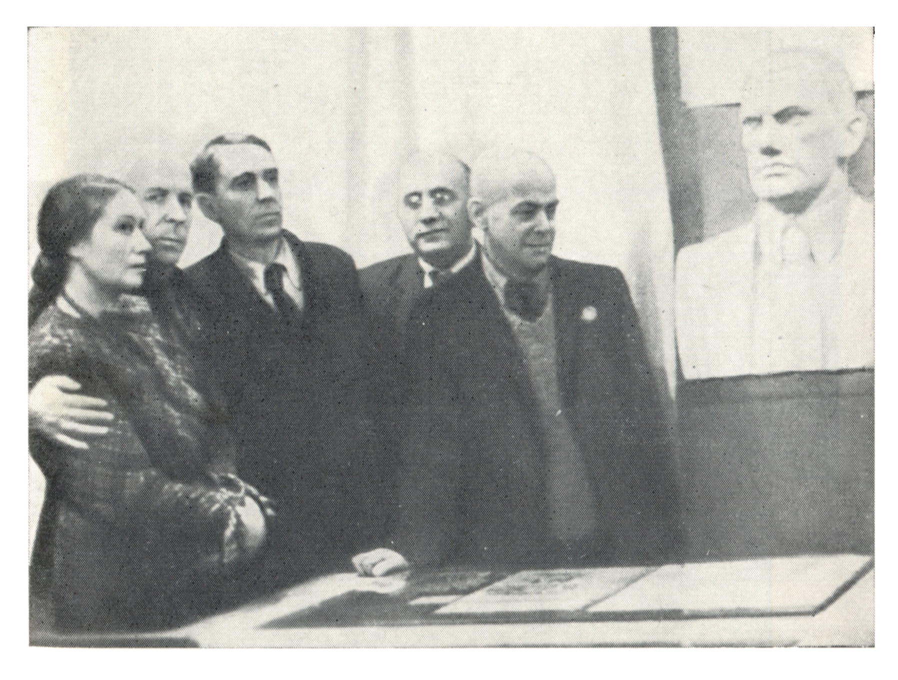
Н. Н. Асеев, К. М. Асеева, П. В. Незнамов, В. М. Гехт.
Москва. 1931 г.



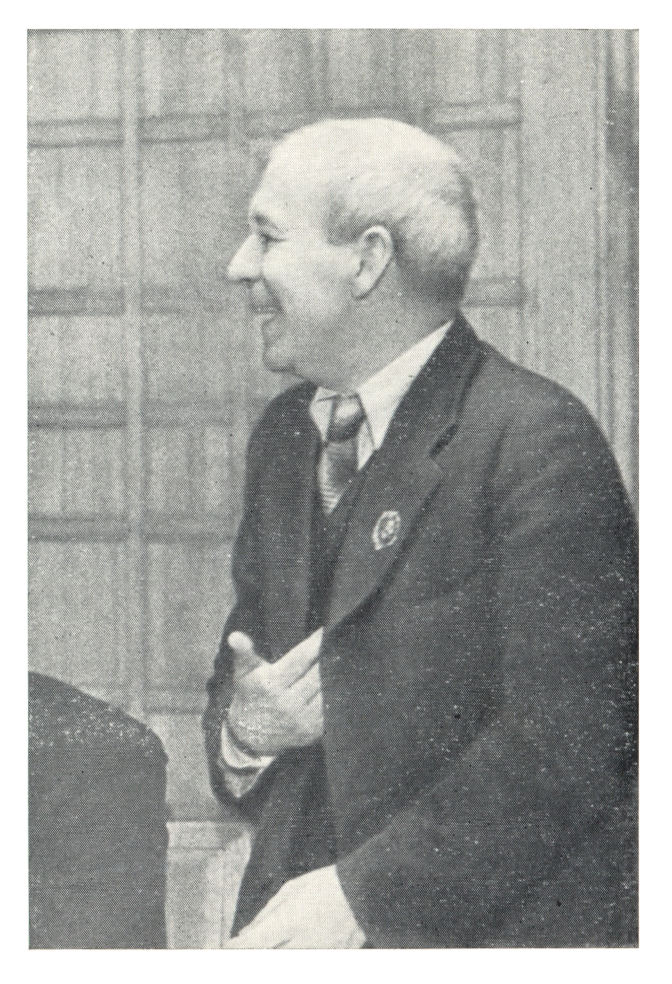
А. Гайдар, Н. Асеев, В. Перцов. Ялта. 1938 г.



Н. Н. Асеев. 1940 г.



На вечере памяти Велимира Хлебникова, посвященном 60-летию со дня рождения. Слева направо: художница М. Синякова, Н. Асеев, А. Крученых, Г. Винокур и В. Шкловский. Москва. 1945 г.



Н. Асеев на заседании Комитета по Государственным премиям.

Николай Асеев и Павло Тычина. Москва. 1962 г.

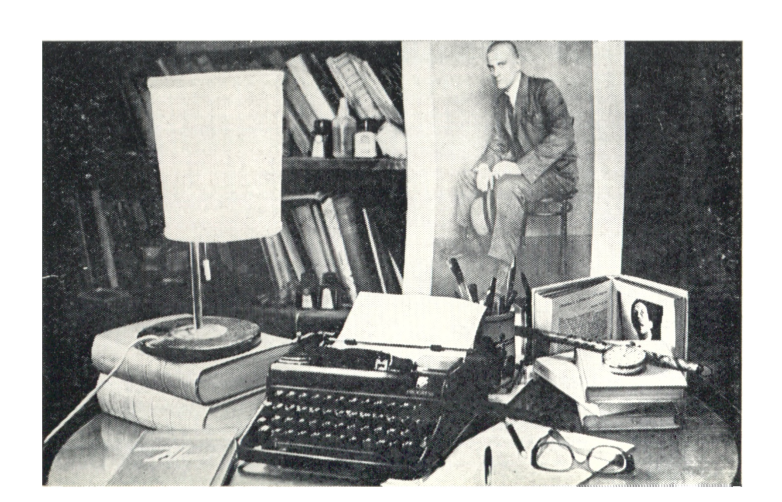
Н. Асеев и С. Кирсанов. 1949 г.





Н. Асеев. Москва. 1962 г.

Рабочий стол Н. Асеева.



ском театре «Березиль», высоко подымал над головой книжку Павла Тычины «Чернигов».

— Если бы в поэзии принято было вручать переходное знамя, то его в этом году следовало бы дать Украине за этот сборник!

И он прочел по-украински и наизусть некоторые стихи Тычины, любуясь каждой строкой. Особое восхищение вызывали в нем стихи об Олесе Кулик, убежавшей из дома на курсы трактористов.

В том же Харькове, в Доме врача, он читал блоковское «На железной дороге» и своим великолепным чтением по-настоящему открыл мне в тот вечер Блока. Много раз я слушал потом «На железной дороге» в исполнении известных чтецов, но чтение Асеева было вне сравнения. Восхищаясь блоковским стихом, он умел заразить своим восхищением всех.

И в своем московском кабинете, полемизируя со многими стихами Пастернака, он в то же время показывал мне достоинства «Второго рождения», восхищался и небосводом, который гуртом послал волны на выгон, а сам лег за горкой на живот, и тучами, бьющими баклуши зимними днями, и месяцем, втершимся в улицы, как мертвый город и остывший горн.

Все это необычайно живо вспомнилось мне, когда я снова, спустя множество лет, пришел на квартиру в проезде Художественного театра. Вспомнилось и чаепитие с медом, которым угощала хозяйка.

— Мед с Украины, с вашей и нашей Украины,— говорила Оксана Михайловна.

И вот снова — те же стены, то же бюро, те же книги, его первоиздания со столь знакомыми обложками и шрифтами. Это уже как бы не книги, а сама жизнь. Они неотделимы от жизни людей моего поколения, как цвет глаз, черты лица...

Это ничего, что книга «Большой читатель» (издательство «Федерация», Москва, 1932) поистрепалась, по-

серела от времени. От всего ее облика веет духом первой пятилетки, веет ударным, рабочим Харьковом, где я со своими сверстниками не расставался с этой книгой.

Пораскинулся
город новый...
украинскою
мягкой мовой,
раскрываясь
и шелестя...
Поезд грякает,
рельсы узятся...
еду к харьковцам,
еду к вузовцам...

Какая радость снова встретиться с такими строками на пожелтевших страницах! И какая радость получить из рук Оксаны Михайловны эту книгу с такой надписью: «Другу Асеева и моему другу от Оксаны Асеевой. 23 мая 1967 г. Вечер».

В такие часы, в такие вечера звучит над миром особая музыка. Ее можно услышать только сердцем.

Дом стоял у города на въезде,
окнами в метелицу и мглу,
близостью созвездий
думалось и бредилось ему...

Что они для меня значат, эти строки?

Да то же, что и дом, сложенный из ракушечника, стоявший у въезда в Феодосию (если ехать со стороны Карадагской биологической станции). А значит, они — мое детство, мой Крым. Точно так же как другие асеевские строки — мой Харьков, моя юность, влажный ветер, летящий вдоль Пушкинской, и голос девушки, читающей впервые услышанное и навеки поразившее:

За эту вот
площадь жилую,
за этот постылый уют,
и мучат тебя,
и целуют,

и шагу ступить не дают?!
Проклятая тихая клетка
с пейзажем,
примерзшим к окну,
где полною грудью
так редко,
так медленно
можно вздохнуть...

Каждый приезд Асеева в Харьков — город моей юности — был событием. И праздником. Был день, когда он вместе с Кирсановым и Уткиным выступал трижды в разных концах города, и я присутствовал на всех трех выступлениях, следуя за ним буквально по пятам, как одержимый. Да я, собственно, так же как и мои сверстники, был поистине одержим поэзией.

Дело было не только в том, что мы любили стихи Асеева. Действовало еще и обаяние его личности. Меня пленяли его особенная артистичность, манера держать себя, великолепное владение голосом, искусство произношения стихов. О, это была великая школа! Школа звучащего поэтического слова.

Структура строки подчинялась законам произносимого, специально созданного для чтения вслух стиха. Интонация почти всегда перекрывала мелодику. Метр подчинялся ритму. Это был разговорный и вместе с тем изысканный, музыкально организованный стих. Часто стих-разговор сменялся стихом-песней. Сколько таких переходов в «Семене Проскакове»! Сколько в других вещах ритмических открытий! Асеевское мастерство обогатило великую культуру русского стиха. Оно еще раз доказало, что нет стихотворения вне стихотворения.

Разговор с публикой он вел всегда запросто, напрямоту. И слушателям это нравилось. Он мог и накричать на кого-нибудь, но это еще больше располагало публику в его пользу. Как-то во время чтения главы из «Девятьсот пятого года» Пастернака к нему прилетела из зала записка: «Как Вы относитесь к Лебедеву-Кумачу?» Ни-

колай Николаевич рассвирепел: «Я сейчас читаю Пастернака, а вы — про Лебедева-Кумача!» Аудитория ответила громкими аплодисментами.

В один из приездов в Харьков Николай Николаевич выразил желание, чтобы на его вечере прочли свои стихи молодые поэты. И вот я, едва вступивший тогда на литературный путь, студент первого курса биологического факультета, выступаю вместе с ним на сцене Харьковского оперного театра. Читаю стихи об удивительных явлениях во время чтения философской книги — «Анти-Дюринга» Энгельса.

И облако, волнистое, как мозг,
в моем окне задумалось над этим...

— Облако,— говорил потом о стихах Николай Николаевич,— можно сравнить с чем угодно — с домом, с утюгом, а вот здесь — с мозгом, потому что тема мозговая...

Я знал о дружеских отношениях Асеева с Павлом Тычиной. Об этом не раз говорил Павло Григорьевич, но мне лишь раз довелось увидать их вместе. Это случилось уже после войны, в Москве, очень жарким летом (о нем Асеев написал стихи «Жарко городу»), в дни Декады украинского искусства.

Я зашел в номер Павла Григорьевича в гостинице «Москва».

Лидия Петровна, жена Тычины,— всегда восторженная, живая, приветливая — сказала:

— Вот хорошо, что пришли. Сейчас придет Асеев с Оксаной Михайловной, и мы все пойдем в ресторан, поужинаем.

Однако в ресторан пошла гораздо бóльшая группа лиц, чем предполагала Лидия Петровна, и в зале пришлось четыре столика соединить в один длинный ряд. Я оказался на одном его конце, а на противоположном — Асеев, Тычина, Николай Николаевич Ушаков с их же-

нами. Там же появилась бутылка хванчкары — редкостного грузинского вина. И я с сожалением отметил, что на моем конце стола такой бутылки не оказалось. Но едва я подумал об этом, как сидевший как раз напротив меня Вольф Мессинг поднялся со своего места, взял с другого конца стола бутылку вожделенного вина и подошел с ней ко мне:

— Вы, кажется, хотите попробовать хванчкары?

Я был потрясен и рассказал присутствующим о случившемся. Все внимание сосредоточилось на Мессинге. Его начали расспрашивать об его удивительном искусстве. Он отвечал уклончиво, говорил, что сам многого не может объяснить. Случай же с хванчкарой назвал простейшим.

— Глаза моего соседа сказали все красноречивее слов.— И тут же заявил: — Многие считают меня провидцем. Но что такое мои способности в сравнении с провиденьями настоящих поэтов?! Они своим вещим взором проникают в такие дали, в такие области, куда не дано проникнуть никому, кроме них. Разрешите поклониться этим провидцам.

Мессинг торжественно подошел к Асееву и Тычине и низко склонил перед ними свою львиную голову.

Все зааплодировали.

С течением времени мои отношения с Николаем Николаевичем перешли не скажу в дружбу (слишком велика была разница в летах), но в очень сердечную с его стороны доброжелательность. Времена менялись, менялись места наших встреч, а необходимость в общении оставалась неизменной.

Все это не означает, что наши отношения были идиллическими. Помню, я никак не мог принять его утверждение, будто так называемые газетные стихи Маяковского нисколько не ниже таких, скажем, вещей, как «Облако в штанах». Он начисто отрицал классические

формы, такие, например, как сонет, октава, хотя сам в своей практике не пренебрегал точной строфикой.

Наши многолетние, сложившиеся еще до войны отношения дали мне право по выходе «Звездных сонетов» послать ему экземпляр книги с дарственной надписью.

В ответ Николай Николаевич прислал свою книгу, изданную в библиотеке «Огонек», и ответил стихами на мою дарственную надпись, в которой я назвал его поэтической звездой.

Пользуюсь случаем обнародовать неизвестные асеевские строки.

Вот они:

Л. В. от Н. А.

(Бесконечный сонет)

Я не звезда, я только искра
и не стремлюсь на небосклон,
не жду привета от министра
и всех, кто выше вознесен.
По правде молвить между нами,
Вы не утешили меня:
из искры возгорится пламя,
а звезды — меркнут в свете дня.

После этих стихов идет приписка в прозе:

«Ваши сонеты очень хороши, но... никто меня не убедит, что сонет не отжившая форма. Впрочем, о вкусах спорить поздно».

Относительно этих слов можно было бы многое возразить, вступить в разговор о поэзии, насыщенный его примерами, его неожиданными выводами. Обычно такие разговоры затягивались у нас допоздна, и он, посмотрев на часы, говорил: «Поздно. Договорим после».

Но этот спор завершить уже нельзя.

Он бесконечен.

Так же, как бесконечен сонет. Единственный сонет Асеева.



Ф. ЛЕВИН

В ГОСТЯХ У АСЕЕВА

С Асеевым я познакомился еще в середине тридцатых годов, когда образовался Союз советских писателей и явилось на свет издательство «Советский писатель», в создании которого я принимал деятельное участие. Наши встречи с Николаем Николаевичем носили тогда чисто деловой характер, разговоры были беглыми, знакомство шапочным.

Из относящихся к тому времени моих воспоминаний, связанных с Асеевым, самое яркое — двадцатипятилетний юбилей его литературной деятельности.

Юбилейный вечер был устроен в Клубе писателей. Мне был поручен доклад, К. Симонову — приветственное слово от молодых поэтов. Перед началом вечера мы ожидали своего выхода в соседней с залом комнате. Симонов очень волновался, ходил взад и вперед, поправлял галстук, потом попросил меня прослушать написанное им слово. Я, по долгу старшего, прослушал, одоб-

рил. Сам же, как человек, немало выступавший перед различной аудиторией, был спокоен. Слишком спокоен.

Вечер открыл Фадеев. Он не вышел на трибуну, а, стоя за столом посреди многочисленного президиума, произнес своим особенным, высоким голосом вступительную речь. Из стихов Асеева он выделил то, что любил: не игру созвучиями, или неологизмы, или «кручение сальто» в стихе — чего немало было у Николая Николаевича, особенно в ранние годы творчества и в лефовский период,— а страстные публицистические стихи и ясную, прозрачную лирику. Высокий, очень прямо державшийся, Фадеев говорил о «Семене Проскакове», о «Синих гусарах» и в заключение прочел целиком «Русскую сказку».

По тому, как он ее читал, чувствовалось, что именно это стихотворение ему ближе всех других из асеевских стихов.

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!
Если рада слушать такое,—
не проси у меня покоя.

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,
если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше,
ты ее, пригорюнясь, слушай!

После этого наступил мой черед. Не могу без огорчения вспомнить о моем докладе. Я совершенно не понимал в то время, как неуместна лекция на юбилейном вечере, как не нужно в этом зале, заполненном писателями-сверстниками, друзьями, читателями, давно знающими и любящими Асеева, говорить им то, что они и

сами знают. Здесь нужно было горячее писательское слово, я же явился тем докладчиком-вороной, который зло осмеян в записных книжках Ильфа. Короче, я провалился.

На десятой минуте меня слушали из вежливости, на пятнадцатой уже невежливо переговаривались друг с другом. И только сам Асеев был стоек и терпеливо слушал, посматривая на меня с другого конца стола президиума зорким голубым глазом.

Сразу вслед за мной вызвали Симонова. Он быстро прошел из коридора к трибуне, взлетел на нее и громко, вдохновенно сказал взволнованное патетическое слово, в котором восхищение поэзией Асеева соединялось с уважением к нему и благодарностью младшего поколения. Зал слушал его напряженно и наградил шумными аплодисментами.

Помню еще выступление Веры Инбер.

Соловей! Россиньоль! Нахтигаль!
Выше, выше! О, выше! О, выше
Улетай, догоняй, настигай
Ту, которой душа твоя дышит.

Она прочла эти асеевские строки в такой интонации, что они прозвучали, как ее собственные, инберовские стихи.

Асеев слушал всех и, казалось мне, затаенно улыбался: один из вас любит у меня одно, другой — другое, третий — третье, а все это мое, все это я, объмлю все это многообразие. Да, юбилей был настоящим праздником не только его друзей и близких, но и всей советской поэзии. И в первом ряду зала внимательно слушала выступления спутница всей жизни Асеева, золотоволосая Ксения Михайловна, Оксана, к которой обращено столько влюбленных стихов поэта.

С той поры минуло много лет, мои отношения с Асеевым не шли далее обмена приветственными словами

при встречах, хотя все эти годы, за исключением военных лет, мы жили в одном доме и видели друг друга часто.

Но именно в последние год-полтора сложились у нас добрые и близкие отношения, и Николай Николаевич звонил мне, звал к себе и даже сетовал, если я долго не приходил. А мне, признаюсь, было как-то неловко первым искать встречи, я боялся утомить его, наскучить. Я знал, как много ходит к нему поэтов, знакомых, друзей, как часто звонят ему из редакций и издательств.

С чего началось наше сближение, я не могу припомнить. Но бывало так.

Николай Николаевич в пижаме сидит на диване. Он седой, худой, лицо морщинистое, покашливает. Он уже почти никуда не выходит, не выезжает. Только весной его перевозят на дачу и поздней осенью обратно в городскую квартиру. Все его связи с жизнью осуществляются по телефону, который стоит на маленьком столике у дивана, через посещения друзей и молодых поэтов, которые приходят читать ему стихи, через газеты, журналы и книги. И все же ни возраст, ни давний туберкулез, ни прочие недуги, ни вынужденное сидение в четырех стенах не делают Николая Николаевича стариком. Он деятелен, он всем на свете интересуется, выспрашивает о новостях литературной жизни. Он много ежедневно пишет: стихи, статьи, готовит книгу. Он читает, откликается на телефонные звонки, сам звонит, говорит с людьми. В беседе с ним все время физически ощущаешь работу мысли Асеева, которая то роется, как крот, в занимающей его проблеме, то вдруг излучает мгновенной вспышкой поэтический образ, остроту, афоризм.

Многие знают комнату Асеева, где он беседовал с приходящими, читал, отдыхал. Круглый стол с пишущей машинкой, груда листков с напечатанными стихами, правлеными и неправлеными, с рукописями других

поэтов, шкаф со своими, чужими книгами, библиотека — небольшая, но тщательно подобранная,— на диване сегодняшние газеты и одна-две книжки, которые сейчас читает Асеев, какой-нибудь журнал. Два-три стула, на полу ковер. Шахматы. Раза два я играл с ним. Асеев в игре был оригинален и азартен.

Однажды я попросил Асеева посмотреть стихи молодого поэта, которые мне принесли.

Стихи были явно формалистические, автор всячески упражнялся в звуковой игре словами, в подборе аллитераций. Асеев посмотрел, почитал и стихами не заинтересовался.

«Такое мы когда-то делали, и я и Кирсанов, это все отработано. Вот я вам почитаю стихи одного молодого. Хотите?»

И, вытащив несколько листков, он стал читать мне странные, сложные, порою вычурные, мудреные стихи. «Приснилось мне, что я оброс грибами» — эта первая строка сразу привлекла мое внимание. «Кто это?» — спросил я. «Виктор Соснора,— ответил Асеев.— Рабочий, живет в Ленинграде».

Соснорой в то время Асеев очень увлекался, написал о нем, добивался повсюду, чтоб стихи Сосноры печатались, чтоб была издана его книжка.

Если Николай Николаевич чем-либо увлекался, он говорил о предмете своего увлечения всем и по многу раз, подчас забывая, что уже прежде рассказывал об этом. Помню, как он настойчиво советовал мне прочесть книгу Бэзила Дэвидсона «Речные пороги», которая восхитила его резким, правдивым обличением капитализма. «Ведь это сильнейшая критика, беспощадная, убийственная»,— говорил Асеев. Недели две снова и снова вспоминал он об этой книге.

В другой раз с большим одобрением говорил о Филиппе Боносски, его книге «Волшебный папоротник».

Как-то я сказал Асееву о том, что в журнале «Москва» опубликован роман Бунина «Жизнь Арсеньева».

«Ну и как? Вы прочли?» — «Да,— сказал я.— Необыкновенный мастер. Книга проникнута такой тоской о покинутой родине, с такой любовью воскрешены в ней весны и осени, восходы и закаты! А какая это живопись словом!» — «У вас есть? Принесите».

Прочитав «Жизнь Арсеньева», Асеев остался равнодушен.

«Да, конечно,— сказал он раздумчиво и вяло,— проза прекрасная. Но весь в прошлом, дворянин, помещик. А мы с Маяковским, знаете, почему так быстро сблизились? Потому что мы оба были уличные ребята, мы так и росли. Не то, что Бунин. И с Пастернаком такой близости не могло у меня быть, как с Маяковским. Пастернак ведь вырастал совсем в другой среде, вы знаете, отец — художник, академик, в доме бывали художники, музыканты, писатели, Лев Толстой. Пастернак учился в Германии. Совсем иное».

И вдруг, оживившись, сказал:

«А знаете, Пастернак очень глубоко написал о Ленине. Помните у него:

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Видите, он ведет Ленина из глубины, от Радищева, от декабристов, а не только от рабочего класса девятнадцатого века. «Управлял теченьем мыслей» — вот почему и стал главою революции, страны».

Однажды я застал Асеева очень возбужденным.

«Вы читали статью обо мне? Знаете такого критика: Урбан? Я раньше не слышал. А тут он обо мне написал. Никто, вы знаете, никто так меня не понял. Он тут о «Синих гусарах» пишет. И открыл там кое-что такое,

чего я сам не видел, не знал. А ведь верно! Выходит, что в «Синих гусарах» есть больше того, что я хотел сказать. Больше сказалось. Хорошая статья. Кто он? Молодой критик? Интересно. Ну, та-ак!»

В разговорах с Асеевым я как-то незаметно узнал, с какими разными людьми он встречался и дружил. К нему являлось много поэтов, постоянно бывал Алексей Крученых, старый друг,— Асеев усердно хлопотал об увеличении его пенсии. Бывал частенько Сергей Васильев, который очень сердечно и нежно относился к Николаю Николаевичу. Ходили к нему Борис Слуцкий — Асеев высоко ценил его талант,— молодые поэты, критик С. Лесневский, редактировавший его книгу. Асеев был дружен с замечательным шахматистом и ученым Михаилом Ботвинником, с выдающимися физиками академиком П. О. Капицей, академиком Л. Д. Ландау. Когда Ландау попал в автомобильную катастрофу и долгое время находился между жизнью и смертью, Асеев ежедневно звонил в больницу; о состоянии Ландау я узнавал именно у Николая Николаевича.

Асеев любил Семена Гехта, писателя с нелегкой судьбой. Они были женаты на сестрах: Асеев — на Ксении Михайловне, Гехт — на Вере Михайловне, в девичестве Синяковых.

В 1962 году Гехт тяжело заболел. Более семи месяцев лежал в больнице, его несколько раз оперировали, но это не принесло излечения. Медленно, но неуклонно жизнь его шла к концу.

Асеев говорил мне о «духовном аристократизме» Семена Григорьевича, его необычайной скромности и душевной чуткости. Николай Николаевич делал для него все, что мог. Он рассказал мне, какая история получилась однажды, когда он доставал для Гехта какое-то редкое новое лекарство. Николай Николаевич позвонил крупному руководящему работнику и попросил помочь достать это лекарство. Просил он для себя, потому что

не хотел отнимать время у занятого человека длинными объяснениями. А тот решил, что Асеев серьезно болен и его плохо лечат, позвонил в разные места, и к Асееву домой явился целый консилиум врачей. Николай Николаевич волей-неволей подвергся осмотрам и исследованиям.

Он рассказал мне об этом со смущением, что так вышло, и в то же время и с неподдельным юмором.

Мог ли он думать тогда, что смерть, которая стояла над распростертым на больничной койке Гехтом, нависает уже и над ним самим? Гехт умер 10 июня 1963 года. Асеев пережил его на месяц с небольшим. Конечно, все знали, что Николай Николаевич болен туберкулезом, но ведь он болел в течение десятилетий. Скрипучее дерево два века живет, говорят в народе. И все мы уже привыкли, что Асеев кашляет, без крайней необходимости не выходит из дому, что он худой и ветхий. Казалось, что так оно и будет всегда. Но он простудился, случилось воспаление легких, и спасти Николая Николаевича уже не удалось...

Многое еще вспоминается мне.

Мы заговорили об абстракционистах, и Асеев рассказал мне давний эпизод.

В первые годы революции судьба занесла Асеева на Дальний Восток. Жил там и Давид Бурлюк.

Вместе они ездили выступать. Денег было мало. Однажды — кажется, это случилось во Владивостоке — Бурлюк решил устроить выставку своих картин. Сняли зал, развесили полотна, навели последний лоск, заперли помещение и ушли ночевать в гостиницу.

Все шло гладко. По городу висели афиши. Но Бурлюк был мрачен. Расхаживая по номеру, он бормотал себе под нос: «Не пойдут!»

«Ну, почему же не пойдут», — возражал Асеев. Но Бурлюк не успокаивался. «Нет, не пойдут. Может быть,

в первый день несколько человек придет, и все... Прогорим! Надо что-то придумать».

Он задумался, потом взял чистый холст, натянутый на подрамник, полез под кровать, вытащил свой несвежий носок и прикрепил его в центре холста. Отставил, полюбовался и удовлетворенно сказал: «Вот! Теперь хорошо!».

«Что вы делаете, Доля?!» — воскликнул Асеев.

«Коля, вы ничего не поняли,— безапелляционно заявил Бурлюк.— Это будет гвоздь выставки. У этого носка будет давка. О нем станут писать газеты. На выставку придет весь город. Здесь будут толпиться зрители и гадать, что хотел этим сказать художник».

«Действительно,— сказал мне Асеев, улыбаясь,— так все и было, как предвидел Бурлюк.— Он помолчал.— Ну, та-ак! Вот вам и абстракционисты».

Асеев не любил формалистических выкрутасов, возражал он и против нарочитой упрощенности, огрубленного и приземленно-натуралистического восприятия поэзии.

«Что это значит: «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я»? Что это значит? Убитый рассказывает, пишет стихи. А Маяковского сразу понимали? Разве худо, если читателю надо расти, тянуться, переходить на высший уровень, чтобы понять идущего впереди поэта?»

Когда он звонил, трубку брала моя дочь. Он подолгу разговаривал с нею. Как-то уж теперь я спросил ее, о чем говорил Николай Николаевич. По ее рассказу, разговор складывался приблизительно так:

«Можно Федора Марковича?»

«Его нет дома. Что ему передать?»

«Передайте, чтоб позвонил Асееву. А с кем я говорю?»

«Это его дочь».

«А, знаю, вы химик. Правильно?»

«Да».

«У меня знакомых химиков нет. Физики есть знакомые. Вот Ландау... Слыхали?»

«Да, конечно».

«Ну, во-от! Вы что сейчас делаете? Читаете? Я тоже сейчас читаю. Стендаля. Выходил сегодня, увидел на лотке пятнадцать томов, купил и принес. Связкой. Сейчас читаю. Собрание сочинений, весь человек. Вся жизнь. Заплатил шестнадцать рублей, и он у тебя на столе. Весь его ум, душа, сердце... Как-то не по себе, если хорошенько подумать... Даже немного страшно. Весь человек. Открывай и бери... Да-а! Так пусть Федор Маркович позвонит мне, когда придет...»

Когда я подходил к телефону, Николай Николаевич всегда спрашивал, не занят ли я, не отрывает ли он меня от работы, и уж потом приглашал — не зайду ли я к нему через часок. Конечно, я всегда соглашался и бросал все дела ради удовольствия видеть его и говорить с ним. Летом он звонил мне с дачи, спрашивал о новостях, просил звонить. «Только не торопитесь класть трубку, если я не сразу отвечаю, у меня телефон наверху, и мне надо подняться по лестнице»,— говорил он.

Асеев приглашал меня к себе на дачу, но там я так и не побывал. А в Москве приходил к нему часто.

«Что же вы, сосед, не приходите?» — говорил он, бывало.

Он звал меня соседом.

Сколько раз он читал мне свои новые стихи, которые потом я видел напечатанными. Он читал еще не отделанные строки, потом они дорабатывались и менялись.

Великой радостью последнего времени был для Асеева выход в библиотечке «Огонька» его книжки под заглавием «Самые мои стихи». Там появились некоторые его стихотворения, написанные еще во время минувшей войны, превосходные стихи! Да и само название книжки говорит о том, как они были дороги поэту.

Насилье родит насилье,
И ложь умножает ложь,
когда нас берут за горло,
естественно взяться за нож.
Но нож объявлять святыней
и, вглядываясь в лезвие,
начать находить отныне
лишь в нем отраженье свое,—
нет, этого я не сумею,
от ярости онемею,
но в ярости не солгу!
Убийство зовет убийство,
но нечего утверждать,
что резаться и рубиться —
великая благодать.
У всех увлеченных боем
надежда горит в любом:
мы руки от крови отмоем,
и грязь с лица отскребем,
и станем людьми, как прежде,
не в ярости до кости!
И этой одной надежде
на смертный рубеж вести.

Эти глубокие, человечные стихи были написаны в разгар войны, в 1943 году, в них душа Асеева, душа замечательного русского поэта.

Книжка эта, с чудесной фотографией Николая Николаевича на обложке, лежит у меня на видном месте. Время от времени я снова беру ее, перечитываю стихи, смотрю на сделанную рукою Асеева надпись: «Ф. М. Левину по соседству и по сосердцу. Ник. Асеев. 1962. 10. VI».

И мне горько от мысли, что уже нет на свете поэта и друга, что я уже не увижу и не услышу его.



С. ТРЕГУБ

В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ

С чего начать эти воспоминания о нем? Начну с далекого и неизменно близкого.

Среди старых любимых моих книг — четырехтомник Асеева, изданный в 1928—1930 годах в белой суперобложке, пересеченный двумя узкими черными и одной широкой синей полосами. Вступительную статью к нему написал И. Дукор. Она заканчивалась словами:

«Рядом с нами — большой, первоклассный мастер. В этом — наша радость и высокая гордость вырастившей его эпохи».

Именно так я и думал всегда об Асееве, который возник в моем сознании лет за семь до выхода в свет первого тома этого его собрания стихотворений, возник почти одновременно с Маяковским и рядом с ним. В ту пору мне близки были лишь те поэты, которых ценил Маяковский. А ведь он, жалуясь в «Юбилейном» Пушкину на нехватку поэтов, написал:

...есть
у нас
Асеев Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.

Но еще до того, как были написаны и прочтены эти строки, я встречал стихи Асеева под «одной крышей» со стихами Маяковского и знал, конечно, что они в одном литературном строю.

Я был буквально очарован «Черным принцем» и «Лирическим отступлением», «Свердловской бурей» и «Королевой экрана»... На память читались «Кумач», «Совет ветров», «Песня сотен», «Гастев», «Заплыв», «Русская сказка», «Красношейка», «Свет мой», «Эстафета», «Время лучших», «Звени, молодость», «Не за силу, не за качество...», «Декабрьский туман», «Встреча», «Синие гусары», «Марш Буденного», «В те дни, как были мы молоды»... Да разве все перечислишь!

Запомнились душевные, доверительные строки:

Положи мне
на сердце ладонь
и внимательно
слушай...

С давних пор я был в числе тех, кто любил слушать Асеева. И чем дольше его слушал, тем больше проникался его лиризмом и понимал, что сила его не столько в «хватке» Маяковского, а в его собственной, чисто асеевской хватке. «И был соловей, живой соловей...» Не о себе ли это?!

Позже он скажет о том же, но уже не иносказательно, а прямо:

Я лирик
по складу своей души,
по самой
строчечной сути.

Вот именно! И в чем бы ни заключалась эта «строчечная суть», как бы велика или мала она ни была, мы узнаем ее по асеевской интонации.

Он писал о себе:

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,
если — песню сторожевую
я умею вехой поставить.

Да, его лирический диапазон широк и богат.

Поэзия Асеева покоряла своей звонкой молодостью. Я имею сейчас в виду не возрастное, а то, о чем писал Маяковский в Октябрьской поэме:

Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток,—
твори,
выдумывай,
пробуй.

Он назвал нашу страну «землей молодости». По этой земле шагала асеевская муза и вдохновлялась ею.

Красные зори,
Красный восход,
Красные речи
У Красных ворот.
И красный — на площади Красной
Народ.

Всем этим и был крайне дорог нам, читателям, Асеев.

Такое чувство к нему зародилось, повторяю, еще в ранней юности, когда я жил в городе Елисаветграде (нынешнем Кировограде), на Украине. Оно, это чувство, и явилось хорошей основой для сближения с поэтом поз-

же, когда в середине тридцатых годов я оказался в Москве и стал не только читателем, но литературным критиком, редактором.

Писать воспоминания — дело ответственное. Думаешь: «Так много, увы, не имеющих на то никакого права, бесстыжих воспоминателей. Горячо любили поэзию Асеева тысячи, и ты лишь один из них. Все предыдущее не имеет большой цены без последующего». И как бы слышу голос читателя: «Предъявите ваши права на воспоминания».

Именно это и вынуждает меня сейчас прибегнуть к некоторой документации...

Отдел литературы и искусства газеты «Комсомольская правда», в котором я работал, часто обращался к Асееву с просьбами: то дать стихи, то выступить со статьей. И он охотно это делал. Так было и когда я перешел из «Комсомолки» в «Правду».

В «Правде» была напечатана моя, одна из первых, если не первая, восторженная статья о поэме Асеева «Маяковский начинается», удостоенной затем Государственной премии. Я писал и о его сборнике «Лад». Редактировал «Избранное».

Часто захаживал к Асееву в Проезд МХАТа, на 7-й этаж, и мы подолгу и о многом беседовали.

Сохранилась фотография: Асеев, Незнамов и я. Сделана она на квартире у Николая Николаевича, вероятно в предвоенном, 1940 году.

У хозяина на руках его любимый кот — Тешка, тот самый, которому посвящена занимательная книжечка Асеева «Тешка», изданная в 1947 году Детгизом.

В зимний вечер из потемок
Появляется котенок:
Сверху сер, а снизу бел,
Очень горд и очень смел.

Называется он Тешка,
Ясноглаз, и шерсть густа...

В поэме «Пламя победы» Асеев вспоминал Незнамова:

Я друга давнишнего потерял,
из верных
верного самого,—
ушел в ополчение
и пропал —
поэта Петра Незнамова.

Бывал Асеев и у меня на улице Грановского.

Отношения установились дружеские. То Николай Николаевич направлял ко мне молодых поэтов с рекомендательной запиской: «Этих ребят, по-моему, стоит поддержать». То дарил первое отдельное издание поэмы «Маяковский начинается», иллюстрированное М. Синяковой: «Дорогому Трегубу с искренним душевным расположением». То новую книгу с надписью: «Семену Трегубу, редактору моему заботливейшему! Искренне дружески». И, как всегда, подписывался «Ник. Асеев».

А однажды прислал отрывок из поэмы о Маяковском, со следующей запиской:

«Не знаю, как написать лучше последнюю строчку. По смыслу мне нужно, чтоб она звучала как Не обходимович, т. е. тот, которого не обойти, не обогнать. Но раздельно писать — неуклюже? М. б. Не Обходимович? Нет, все-таки лучше слитно, как отчество. Тогда значение второе: без которого нельзя обойтись, необходимый, хотя и выступает на первый план, но сохраняется и первоначальное»...

Так Асеев относился взыскательно к каждому слову.

В поэме он остановился на — Необходимович:

Вот так,
во всем и везде впереди,—
еще ты и слова не вымолвишь,
он шел, за собой увлекая ряды,—
Владимир Необходимович!

Когда в 1949 году вышла моя книга «Живой с живыми», подвергшаяся ожесточенному разносу, Николай Николаевич, находясь в больнице, откликнулся обстоятельным и весьма добрым письмом о книге, которую он прочел «от корки до корки...».

Он писал: «В книге есть тема. Тема эта — партийность литературы. А так как Маяковский насквозь партиен, то его фигура и является ведущей по теме».

Душевный мир Асеева был резко континентальным. Таков он всегда, как мне представляется, у истинных поэтов. Его эмоциональная ртуть находилась в постоянном движении, он легко возбуждался, легко переходил из одного состояния в другое. Мне никогда не приходилось видеть его равнодушно-спокойным. И всегда: то сдержанно сосредоточенным, то неистово яростным, то удивительно нежным.

Чаще всего беседовали, конечно, о поэзии: о трагедии и торжестве Маяковского, о ее признанных и непризнанных главарях, о ее молодых кадрах. Асеев читал полученные им письма, рассказывал о запомнившихся встречах, знакомил с новыми своими и чужими стихами. Говорили о быте и нравах литературной среды. Многое из того, о чем мы беседовали, «отстаивалось» потом словом и появлялось в стихах и в статьях Асеева.

Его запальчивость была мне по душе, хоть я и остужал его порой. По душе была его предельная открытость, искренность. Я всегда уходил от него с ощущением, что встретился с поэтом. А поэтом, как известно, быть куда труднее, нежели человеком, просто пишущим стихи. Напомню парадокс Белинского: «...трудно быть поэтом, так же трудно, как легко писать стихи». Асеев с честью нес свое трудное и высокое звание поэта. Он был ему предан всей душой, до последнего вздоха. Поэтова звания «Я не уступлю никому».

...Мирные годы сменились вскоре годами войны. Я уехал на фронт. А больной Асеев эвакуировался вме-

сте с другими писателями в Чистополь. Завязалась переписка.

Четыре письма и четыре стихотворения Асеева, которые я сейчас приведу, датированы мартом и маем 1942 военного года.

В первом письме, которое я направил Асееву в Чистополь, содержалась, кроме всего прочего, что станет ясным из его ответа, просьба прислать стихи для нашей армейской газеты, я передал ему и приветы от И. Мартынова (которого он знал как редактора Гослитиздата) и С. Швецова (мы работали вместе).

Спустя некоторое время полевая почта доставила мне необычный светло-желтый конверт. Это и было первое из тех четырех его писем, которые представлены здесь с некоторыми купюрами.

«Дорогой Трегуб!

Очень был рад, что Вы мне написали. Рад и за себя, что не забыли, и за Вас, что живы и здоровы. Вы пишете о сходстве Маяковского с Лермонтовым. Я думаю, что у них есть общее — беззащитная наивность в быту и отсюда как противодействие — внешняя задорность и заносчивость. Лермонтов наивнее Маяковского, как наивнее была и эпоха Лермонтова.

Если Вы читаете Лермонтова, то я вновь и вновь вчитываюсь в Льва Николаевича Толстого. Особенно разительно звучат теперь страницы «Войны и мира». Вот это правда без умиленности и наигранного пафоса. Так хочу писать и я.

Выходит ли это у меня? Не знаю. Вот судите сами — Вам виднее Оттуда:

Великая вещь —
человечья речь,
бывает,
голову снимет с плеч,
бывает,
лучшим словам родня,

заставит
выше ее поднять.
От точных слов,
от верных речей
расправятся
миллионы плечей.
От сильных речей,
от вечных слов
поднимутся
миллионы голов...

Этот отрывок из поэмы Победы, над которой я сейчас работаю вновь и вновь.

Что прислать Вам в газету? Я примериваю и так и этак, и все это не прикладывается и не приходится по мерке событиям. Очевидно, прав Толстой в своем послесловии к «Войне и миру», рассуждая о художнике и историке. Вы скажете: а как же Маяковский? Вот и Маяковский свидетельствует:

Ежедневно
как вол жуя,
стараясь за строчки драть,—
я
не стану писать про Поволжье,
про ЭТО
страшно врать.

Впрочем, пошлю Вам свой «Марш мести» из той же поэмы Победы. Может быть, он Вам пригодится. Вот он.

МАРШ МЕСТИ

Врагу,
в наши дома
посмевшему влезть,—
месть, месть, месть.
Врагу,
оскорбившему нашу честь,—
месть.
Что в мире
отныне священнее есть?
Месть, месть, месть.

Пять чувств у нас было,
отныне — шесть;
шестое — да будет —
месть.
Пусть слуху желанна
едина весть:
месть, месть, месть.
Пусть вспыхнет на стенах,
чтоб глаз не отвесть,
громадными буквами
«месть».
Врагу,
разорившему столько семейств,—
месть, месть, месть.
Ему не исчислить
и не учесть
неутолимую месть.
На вражье коварство,
на хитрость,
на лесть —
месть, месть, месть.
Пять чувств у нас было,
отныне — шесть:
шестому названье —
месть!

Обнимаю Вас, привет всей редакции.

1942. 22 марта. Ник. Асеев».

Через несколько дней прибыло и второе письмо Асеева, обращенное на этот раз не ко мне одному.

«Дорогие Трегуб, Мартынов, Швецов!

Посылаю для Вашей редакции только сейчас законченные стихи «Метель». Кстати, посылаю и ранее написанные, нигде не напечатанные.

Обнимаю Вас этими стихами: думаю, что Вы поймете, какие чувства руководили мной при написании и посылке. Я хочу работать для фронтовой газеты — во

всю силу моих возможностей,— не подделываясь и не наигрывая пафосных интонаций.

Обнимая Вас сердечно, желаю всей душой здоровья, военных успехов и бодрости.

Ваш корреспондент Ник. Асеев

1942. 30 марта».

Мы с превеликой радостью опубликовали стихи «нашего корреспондента»: и «Марш мести», и «Метель», и еще одно из ранее написанных им стихотворений «Шакалы в львиной обители».

Я направил Николаю Николаевичу газеты с его стихами и написал о том сердечном отклике, который встретили они у воинов.

Но до того, как я уже сказал, еще в апреле, я послал Асееву два письма, на которые он мог ответить лишь в своем третьем и четвертом письмах.

В первом из них я высказал свое искреннее огорчение тем, что Николай Николаевич находится не в героической Москве, а где-то в далеком тыловом Чистополе.

Во втором письме я говорил о целесообразности отделить в стихотворении «Марш мести» строфу от строфы и слова «месть» сопроводить не равнодушными точками, а более выразительными знаками восклицания.

Третье письмо Асеева; написано 13 мая:

«Дорогой Трегуб!

Получил сразу 2 Ваших письма от 15. IV и от 27.IV и сейчас же Вам отвечаю. В первом — Вы пишете, что меня попутал бес, что в такое горячее и грозное время нельзя сидеть в Чистополе и писать для потомков... Здесь же Вы просите опровергнуть Вас. Опровергать нет смысла, потому что это уж будет похоже на спор, а спора между нами нет. Конечно, писать для потомков

дело темное. Но потомки-то мои — на фронте, и вот когда я им присылаю стихи, а не рассуждения, то они, оказывается, одобряют меня и даже в ладоши хлопают. Что ж, значит, столь презираемый Чистополь помогает мне писать? О чем же тогда и спорить? Страшнее всего мне сейчас это — не написать того, что я чувствую и что должен написать. А где это я сделаю — безразлично...»

И вот, наконец, четвертое письмо Николая Николаевича, отправленное им 21 мая 1942 года. В нем — ответ на мое второе апрельское:

«Дорогой Трегуб!

Рад был, что стихи дошли до Вас и помещены во фронтовой газете. Что касается «Марша мести» — Вы не совсем правы: разрядки он не требует. Он рассчитан на голос; должен читаться раздельно, спокойно, без выкриков и нажимов. Его убедительность именно в цельной, сплавленной тяжести. Он бьет весом, и воздуху в него впускать не следует. Очень я доволен «Метелью» — что она напечатана, что она Вами одобрена. Когда кончу поэму, пошлю ее только Вам на фронт; там судят понастоящему.

Сейчас пока посылаю маленькое, если для газеты не подойдет — почитайте сами.

Крепкий привет. Н. Асеев».

Тут же двумя колонками — стихотворение «Природа на войне» — одно из лучших, на мой взгляд, асеевских стихотворений военной поры, написанное за день до отправления письма — 20 мая.

ПРИРОДА НА ВОЙНЕ

Когда над фронтом
падает звезда —
ждут грохота
в конце ее следа.

На небе месяц,
молодой и прыткий,
глазеет вниз,—
еще не сбит зениткой.

Туман, встающий
молча из-за леса,
накатывает
дымовой завесой.

А на лугу,
где сладко веет сено,
приходит мысль
о запахе фосгена.

Пожарищем,
ползущим из-за хат,
дымит восток
и плавится закат.

Кустов ряды,
знакомые веками,
забронированы
грузовиками.

И тополя,
темны и молчаливы,
встают вдали,
как вздыбленные взрывы.

Клин журавлей
летит:
точь-в-точь над рощей
к бомбардировщику
бомбардировщик.

Все двойственно,
и на лесной опушке
поют
обманным голосом кукушки.

Тот, кто обратится к четвертому тому Собрания сочинений Н. Н. Асеева (издательство «Художественная литература», 1964 г.), найдет в нем поэму «Пламя по-

беды», под которой стоят даты: 1941—1945. И в ней — те самые стихи, которые увидели свет в нашей армейской газете «Разгромим врага». Они объединены в главе «Фронты на тысячи верст». Сличая тексты, можно убедиться в том, что Асеев продолжал работать над этими стихами и кое-что в них изменил. Обратимся, например, к последнему стихотворению — «Природа на войне».

Прежде всего оно не самостоятельное стихотворение, а часть целого: подслушанная беседа, которую ведут на «мокром лужке» фронтовики. У стихотворения и другое начало:

> Привыкшие
> к утратам и потерям,
> мы больше
> синеве небес
> не верим!

И за этими строчками, как их непосредственное продолжение, следует: «Когда над фронтом...»

Изменены отдельные слова и строки. Вместо «падает звезда» — «катится звезда». Вместо «накатывает дымовой завесой» — «окутывает дымовой завесой». Вместо «А на лугу, где сладко веет сено...» — «И на лугу, где сладко млеет сено...» Было: «Пожарищем, ползущим из-за хат...» — стало: «Пожарищем, плывущим из-за хат...» Было «забронированы грузовиками» — стало «загримированы грузовиками». Последующая строфа отодвинута, а на ее место перемещена строфа «Клин журавлей...» За ней уже идет: «И тополя...» В этом стихотворении нет строки «как вздыбленные взрывы», вместо нее — «напоминая взрывы». Исправлена и первая строка заключительной строфы. Было: «Все двойственно...» — стало: «Притворно все...»

В первоначальном тексте — разрядка между строфами, сейчас ее нет.

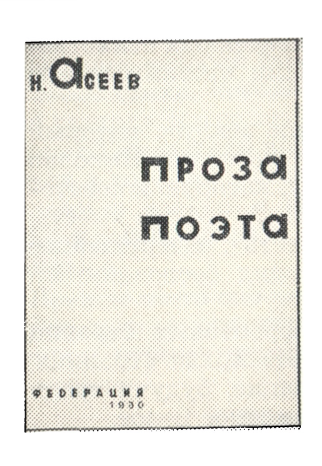
Нечто подобное — и в других приведенных стихотворениях, которые стали органическими частями поэмы «Пламя победы».

Остается добавить, что в «Марше мести», который вошел в поэму без своего начального названия, Николай Николаевич внес ту самую разрядку, которую я советовал и от которой он было отказался. А рефрен «месть, месть, месть», как и само слово «месть», завершающее каждую строфу, он всюду сопроводил беспокойными восклицательными знаками.

Такова одна из неизвестных фронтовых страниц творческой биографии поэта. Она, эта яркая страница, дополняет предыдущие и последующие, будучи среди них органичной и составляя с ними единое целое.

Николай Асеев писал о том, что чувствовал, чем дышал, о чем не мог не писать. В его произведениях та непосредственность и свобода, которые сродни природе. И он был прав: «...мои стихи — они того же рода, как времена круговращенья года».

Живое слово поэта — в нашей памяти и в нашем сердце, в памяти и в сердцах нынешних и грядущих поколений.



ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

ОБ АСЕЕВЕ

Художник приходит в мир для того, чтоб, увидев этот мир заново во всей его неповторимости, поделиться увиденным с великим множеством людей, людей разных судеб, уровней, настроений. Это вовсе не значит, что художник потакает всем вкусам, нет, иногда он говорит не только в голос с вами, а спорит, обличает, убеждает, но делает это так, что об этом не позабудешь. И в чем-то да намечаются в конце концов точки соприкосновения между подлинным художником и человечеством, которое не меньше, чем в хлебе насущном, нуждается и в пище духовной.

После вышесказанного, казалось, я должен бы прежде всего процитировать стихи Николая Николаевича «Еще за деньги люди держатся», но, тем не менее, я процитирую не эти стихи, а другие, много более ранние, те самые, которыми он как бы заявил мне о своем су-

ществовании, как бы протянул мне руку, чтоб я ощутил не только пясть, но и запястье, не только рукопожатье, но и биение пульса, не только у него, но и у себя, словом — темп времени.

Это было в двадцатых годах, насколько я помню, еще в первой их половине. Я позволю себе быть точным, то есть вспоминать об этом именно так, как это вспоминается, вспоминать без подробностей, но от этого-то и особенно ясно. Это был какой-то журнал, я забыл, как он назывался, но тем более отчетливо мне вспоминаются ритм и смысл того, что я прочитал.

Речь шла о кино, потому что на экране

Кончалась и вновь начиналась сначала
Не лента, а жизнь сама.

И конечно, суть была именно в ней, не в ленте, а в жизни. Мне показалось, что это касается как будто всего на свете:

и если механик движенье утроит
в разгаре сплошных погонь,
от тренья нагреется целлулоид,
и все зацелует огонь!

Это был тот ритм, в котором жил и я. Это были стихи, попавшие в точку. Это и была первая точка соприкосновения между Асеевым и мной. Так начался контакт, знакомство и все то, что дало сейчас повод для воспоминаний.

Нет сомнения — он жил именно в этом темпе. Я не знаю человека более экспансивного, более горячо откликавшегося на все вокруг, будь то события поэтические или политические, будь то вопросы, касающиеся этики или энергетики, образа мыслей новых живописцев или древних летописцев. Он ревниво умел различать новое в старом и старое в новом и находить тем или иным явлениям свое место во времени. Он не мог

жить без общения все с новыми и новыми людьми и был одним из самых неутомимейших творцов и искателей живого слова.

Я помню, как он с терпеливой нетерпеливостью заставлял читать новые стихи своих гостей-поэтов, у которых не было в данный момент ничего нового, с их точки зрения достойного прочтения. Молчанье поэтов казалось Асееву чудовищным. И помню, как один поэт пришел с подарком — с новой книгой своих стихов,— и больной Асеев тут же прочел ее вслух, всю целиком — шестьдесят стихотворений. Прочел ее нетерпеливо, как-то даже деловито, не для присутствующих, а явно для себя. В наше время порядочно утомленных голов такая вещь редкость, во всяком случае я больше не встречал человека, с таким любопытством к творчеству своих современников. И сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о том, что сам я еще ни разу не поступал так, когда кто-нибудь дарил мне свои или не свои книги. Обычно скажешь «Спасибо» и отложишь с полным сознаньем своей правоты, чтобы прочесть внимательно, но позже, на досуге. А он прочел книгу тут же за столом, за тем самым обеденным столом, за которым сиживали у него самые разнообразные люди: рядом с Оксаной и ее милыми сестрами я помню там и Пастернака, и Петникова, и физика Ландау, и словотворца Крученых, и всякую молодую поросль, жадно внимающую рассказу Асеева о тех, чьи тени присутствовали там почти зримо — о Маяковском и Хлебникове, Василии Каменском, Бурлюке, и о тех, чьи незримые тени, казалось, приобретали плоть и кровь — о Кирше Данилове и Даниилe Заточнике и о неведомом авторе «Слова о полку Игореве».

Словом, Николай Николаевич Асеев жил в кругу самых разнообразных интересов современности и прошлого, как недавнего, так и глубочайшего. Он жил любопытствуя, жил жадно и реагировал на все в полную

мощность. Было бы пошлым сказать, что он *легко* раздражался, нет, раздражался он, человек тяжело больной, не легко, а тяжело, и, глядя на него, я постоянно думал о том, как реальна опасность того, что действительно все зацелует огонь.

В таком именно состоянии, нет, не состоянии, а именно в движении был он сам. Он так жил. Вся его деятельность свидетельствует об этом. Состояние спора, состояние полемики было естественным для него состоянием:

Кончалась и вновь начиналась сначала
Не лента, а жизнь сама.

Конечно, все это — о самом себе. Ведь не одной, а по крайней мере двум эпохам принадлежал он. Сколько раз как будто кончалась и вновь начиналась сначала жизнь, ее творческие этапы и обновления. Когда он писал лучше всего? Конечно — с самого начала, и потом в середине, и потом в самом конце жизни. Тут я не буду ничего цитировать — каждый пусть по собственному разумению выберет строки из ранних, зрелых и и поздних стихов Асеева. И каждому найдется, и притом самое разное, в каждом отдельном случае. И будут спорить, как он и сам часто спорил с другими: «Нет, не это хорошо, а вот это!» И этот спор, вечный спор читателей, вечный спор критиков, будет свидетельствовать о широчайшем диапазоне его творчества. Такой поэт для всех — и для высокограмотных и для полуграмотных, малограмотных, которые, может быть, даже и не знают и имени Асеева, и в глаза не видели его книг, но слышали и запомнили его стихи, ставшие народною песней: «Никто пути пройденного у нас не отберет...»

Впрочем, кое в чем сойдутся если не все, то большинство: те или иные стихи будут вноситься в хрестоматии, как вносятся уже и ныне.

Но напоследок заглянем не в хрестоматии, а в ту самую, пожалуй, и самую раннюю маленькую книжку

Асеева, которая стала теперь библиографической редкостью:

«Вот захлопнется книга, и душа моя уйдет дремать на книжную полку»,— писал он в 1913 году в послесловии к этой юношеской своей книге «Ночная флейта». Как всякий подлинный поэт, он писал, конечно, чистую правду. Правду для тех времен. Но, к счастью, в дальнейшем все сложилось не так. Действительно, было время, когда его юношеская душа как бы и уходила дремать на книжную полку, когда его неповторимость еще только смутно выглядывала из-за частокола слов, тех слов, которые он очень скоро начал опрокидывать, ставить на дыбы, перерождать, зарождать, возрождать, превратившись из юноши в зрелого мужа, современника, соучастника, соратника Великой Революции.

Его душа не ушла дремать на книжную полку.



НИК. УШАКОВ

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ Н. Н. АСЕЕВА

Николай Николаевич Асеев удивительно читал блоковские «Шаги командора». Не знаю, как другим, а мне в его чтении слышался нараставший гул пустынных анфилад:

Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Такое следовало бы печатать ломано-интонационной строкой Маяковского:

Дева Света!
Где ты,
донна Анна?
Анна!
Анна! —
Тишина.

«Узнаете,— спросил Асеев,— лермонтовский и есенинский пятистопный хорей нечетных строк?» И сам

отвечал: «Сразу не узнаешь,— здесь как бы новый размер. Что делает интонация!»

Чувствуя современность, Асеев возвращал молодость старому; проникая в древность, говорил о молодом.

Он писал о богатыре Илье «с-под Мурома» и о сибиряке Семене Ильиче Проскакове, работавшем на Ленском руднике, о синих гусарах и коннице Буденного, о сведенных «к точным формулам» стальных соловьях горячих цехов и не только о курских соловьях, гремящих над Сеймом, но и о снегирях с Подкрапивенской улицы, то есть из-под куста прошлогодней крапивы:

Тихо-тихо сидят на снегу снегири —
на головках бобровые шапочки.

(«Снегири»)

Он выбирал квартиры в высоких домах и селился на последнем этаже,— ему нравилась тесная краснокирпичная Москва внизу, его радовала близость открытого неба, особенно на рассвете, особенно весной:

О серо-розоватый
рассветный час,
навек, навек сосватай
с весною нас.
Навек, навек сосватай,
соедини
с березою и мятой
стальные дни.

(«Весенняя песня»)

В асеевском голосе соединились два голоса великой русской поэзии: стальной — как у Маяковского и нежный — как у Блока; «неслух традиций», так называл себя Асеев, он был прилежный их продолжатель.

В нашей поэзии существует замечательная цепь русских весен.

Весна Пушкина:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.

(«Евгений Онегин»)

Весна Баратынского («Восторги дух мой пробудили»), Тютчева («Мы молодой весны гонцы»), Фета («Еще весну переживешь»), Блока:

О весна без конца и без краю —
Без конца и без края мечта!

(«Заклятие огнем и мраком»)

Мечтатель Асеев носил серый костюм, чтобы не отличаться от деловых москвичей, и советовал: «Носите серые костюмы, они придутся вам к лицу. Будем верны простоте. Кстати, не по старинке ли изысканны *карие ветки* из вашего стихотворения «Плоты»? [1]»

Асеев отвергал красивую старинку и давал новое направление прекрасной старине:

Заводы! Слушайте меня!
Готовьте пламенные косы:
в России всходят зеленя
и бредят бременем покоса!

(«Россия издали»)

---

[1] Струи плакучей ивы
касаются воды.
Плывут неторопливо
в сырую ночь плоты.

И дуги веток карих
мерцают вдалеке,
течет огнем фонарик
по дымчатой реке.

У Асеева своя весна, эту весну разделяли с ним его друзья. Встретишь Хлебникова:

Идет и теребит
от пуговиц ниточки;
и взгляда не встретишь
мудрей и ясней...
Возьмешь остановишь:
«Куда же вы, Витечка?» —
«Туда,—
отмахнется,—
навстречу весне!»

(«Маяковский начинается»)

И Маяковский — сам весеннее чудо —

шел по весне,
по мартам и по апрелям,
навстречу солнцу
с народом тесней...

(«Весенний квартал»)

Эту весну разделяли с Асеевым ученики и благодарили ее, как благодарил Асеев:

Спасибо тебе, весна,
что ты светла и ясна
без всяческих разъяснений!

Спасибо тебе, страна,
что ты сильна и стройна,
полна надежд и стремлений!

(«Весенний квартал»)

Встречи не часты, но передача русских поэтических традиций драгоценна.

И какой такт старшего товарища!

Не «подойдите к доске», а как бы просьба.

Например, просьба познакомиться с древними российскими стихотворениями, собранными Киршеею Даниловым.

Краснею,— о сборнике Кирши Данилова узнаю впервые.

— Любите ли Баратынского?

Чувствую себя уверенней.

— Да, да, люблю: «Как Магдалина плачешь ты. И как русалка ты хохочешь» — точность непосредственности. Нет, нет, не люблю: «Смерть дщерью тьмы не назову я» — бледная рассудительность.

Еще просьба — объяснить строки Фета —

Какая грусть! Конец аллеи,
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.

Передо мною признаки первоначальной весны. Воды под снегом. Темные пятна светлеют и соединяются в серебряные линии — рождаются ручьи. От серебра и золота откажусь не сразу, но живое за туманами начинаю различать.

А Н. Н. Асеев читает молодого Прокофьева: «Развернись, гармоника, по столику» и показывает руками — как дышит гармоника. Так укрепляешься в живописи словом.

Из асеевских «Синих гусар»:

— Руку на сердце
свою положа,
Я тебе скажу:
ты не тронь палаша!

«Положа — палаша» — чуть-чуть диссонанс, но так приглашаешься к новой музыкальности.

Двадцатые годы. Мы — молодые киевляне — увлечены ритмами Асеева:

От Грайворона до Звенигорода
Эта песня была переигрывана.

(«Наигрыш»)

Стынь, стужа, стынь, стужа, стынь, стынь, стынь!
День — ужас, день — ужас, день день, динь!!

(«Собачий поезд»)

Впрочем, на Северный полюс тогда уже снаряжались дирижабли, а до того ездили на собаках и возили с собой примус.

Картинка моего детства: человек в мехах, но с непокрытой головой в ледяной пещере разводит примус.

Примусы днем бушуют у нас на коммунальной кухне. Вечером затихают. Я один, но в присутствии январской луны пишу на ледяной кухне. Примусы смотрят на меня и входят в арктическую элегию.

В сущности, я — заочник. Посылаю работы в Москву.

Послал в «Красную ниву», в «Рабочую Москву» — результатов никаких. Послал «К полюсу» (вариант с примусом) в журнал «Молодая гвардия». Ответил Н. Н. Асеев. Приглашал сотрудничать в журнале, где он тогда ведал литературным отделом.

У меня сохранилось это письмо, написанное красными чернилами. Сохранилось и написанное от руки лестное для меня предисловие Н. Н. Асеева к моей первой книге.

Н. Н. Асеев просил извинить ему его краткость («иначе не умею»), и в этом также заключается дружеский пример и совет.



С. НАРОВЧАТОВ

В СТРАНЕ ПОЭЗИИ

— Сегодня мы собираемся к Асееву,— сказал Павел Коган, значительно сдвигая свои загустевшие брови.— Пойдешь с нами?

— Конечно!

Я просто захлебнулся от неожиданности. Какое счастье привалило! Яростный грохот ифлийской перемены перестал существовать для меня. Черноглазая девушка — ах, какие девушки были в ИФЛИ! — отошла от меня, кусая губы: мне стало не до нее. Последние лекции я сидел, ничего не соображая. Потом пошел пешком через Сокольнический парк. Не разбирая дорожек, шагал по сухим осенним листьям. Они не шуршали, а звенели под ногами. Звенели они и на лету, касаясь в случайном полете моих рук, плеч, лица. Звенел весь сентябрьский лес, и звенели во мне моя юность, мое счастье и мои асеевские стихи. Они и впрямь в этот час были моими, я ощущал в них, как свое, каждый звук, каждую паузу.

Простоволосые ивы
Бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Как хорошо!.. Боже... Жаль, что он не существует, а то бы я помолился: сделай так, чтобы я сочинял такие же стихи. Ну конечно, по-своему, но такие же хорошие.

Мне было 18 лет, я писал стихи и в первый раз в жизни шел на свидание со знаменитым поэтом.

Не помню, как я скоротал время до вечера, не знаю, как провели его мои друзья, но когда мы встретились у подъезда МХАТа и взглянули друг на друга, каждый участливо посоветовал товарищу: «Право, не стоит так волноваться». Асеев жил в доме напротив, и мы, как говорится, со страхом господним постучались в заветные двери... Послышались быстрые шаги, дверь стремительно распахнулась, у порога стоял Поэт. Да, это был поэт с головы до ног и с ног до головы. Так принято говорить о королях, ну, так он и был королем. Он самостоятельно правил в своем самостоятельном государстве, где образы, рифмы и ритмы были его доброхотными и послушными подданными. Мгновенным, но пристальным взглядом схватил он всю нашу маленькую группу, жавшуюся перед дверью, и произнес первое, услышанное мной от него слово: «Пожалуйста!»

Пожалуйте в страну поэзии — мысленно договорил я за него. Мы вошли и представились: Коган, Агранович, Лащенко, еще кто-то и я. С этой минуты началось мое знакомство с Асеевым, продолжавшееся четверть века и оборвавшееся лишь с его смертью. После я видел его по-разному: веселым и удрученным, резким и мягким, раздраженным и умиротворенным. С горечью узнавал его состарившимся и больным, отягощенным неизлечимым недугом. Но всегда через наслоения време-

ни и настроений проступали перед моими глазами черты Асеева первой нашей встречи. Непринужденность, легкость и изящество сквозили в каждом его жесте. Движения были резки и порывисты. Он неожиданно менял позы, то облокачивался, то, наоборот, откидывался в кресле, то пружинисто вставал, то так же внезапно садился. Но резкость и порывистость не являли даже признака неуклюжести. Удивительно легким казался этот сухощавый стремительный человек. Неуемный темперамент жил в нем, сухое горенье, без чада и копоти, все время обжигало его душу.

Ему тогда еще не было пятидесяти лет, и седина была малоприметной — даже пожилым человеком его нельзя было назвать. Породистое лицо — тонкое и нервное — освещалось ясными и, я бы сказал, любопытствующими глазами. Именно «любопытствующими» — как истинный поэт, он был наделен даром не только удивлять, но и удивляться. Радостно и самозабвенно удивлялся он всякому новому явлению, в котором угадывал ростки будущих свершений. Он был увлекающимся человеком и в пристрастиях своих шел до конца.

В тот памятный мне вечер Асеев был весел, радушен и исполнен доброжелательности. Расспросив нас — кто мы и что мы, он предложил начать читать стихи. «Это вы говорили со мной по телефону? — обратился он к Когану.— С вас и начнем». Павел помрачнел, насупился и стал читать свои лучшие стихи. Читал он, как всегда, превосходно — это была, разумеется, не актерская манера чтения, а своя собственная, поэтская, но восприятию его стихов она способствовала как нельзя лучше. Когда он читал, у меня возникло ощущение того, что распрямляется медленно и неуклонно сжатая под огромным давлением металлическая спираль. Он читал свою «Грозу», и когда она у него «вдруг задохнулась и в кусты упала выводком галчат», Асеев улыбнулся и ска-

зал: «Хорошо». Павел, приободрившись, с подъемом окончил свое программное:

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.

Потом он прочитал еще два стихотворения, и в одном из них Асеева остановила строка: «И лежал поэт на пустом, как тоска, берегу». Он воспользовался ею, чтобы высказать свои воззрения на предметность поэзии. «Видите ли,— сказал он, наклоняясь к Павлу, но и нас не выпуская из поля зрения,— такое сравнение предполагает определенную систему поэтики, которой вы, к счастью, не придерживаетесь. Художественный принцип Маяковского, а следовательно и мой, совершенно противоположный. Поэзия должна быть зримо предметна. Сравнивайте отдаленное с близким, абстрактное с вещественным, отвлеченное с видимым, но никогда не наоборот. Поэт-символист мог бы, по праву, сравнить берег с тоской. Такое сравнение соответствовало поэтике этого течения. Определение реальности, исходя из ирреальных понятий, являлось одним из признаков философского идеализма, который исповедовали символисты. Мы поставили поэзию на землю, и если говорить о сравнениях, то они у нас зримы и осязаемы, их можно потрогать рукой, не то что вашу тоску. Возьмите наудачу любые стихи Маяковского. Ну, хотя бы «Заграничную штучку» из его парижского цикла.

Париж,
как сковородку желток,
заливал
электрический ток.

Точно сказано! Накал ламп десять лет назад был меньше, чем теперь. Желтый электросвет заливает горячую сковородку Парижа. А Париж в этих стихах дей-

ствительно раскален и распален похотью. И вот абсолютно точный образ воссоздает перед вами всю картину. Для символистов такой образ был недоступен не потому, что они были бесталанны, а потому, что исходили из другой, отвергнутой нами поэтики. Вот где зарыта собака,— расхохотался он.— И, пожалуйста, не вырывайте ее сызнова.».

Эту маленькую лекцию я запомнил почти от слова до слова и воспроизвожу ее здесь так, как она осталась у меня в памяти. И надо отметить, что подобных лекций, импровизированных по, казалось бы, случайному поводу, я услышал от него потом немало. Он был блестящим знатоком стиха, его емкая память вмещала тысячи строк от «Слова о полку Игореве» до современных поэтов. В подтверждение какого-либо положения он извлекал из этого арсенала подходящее моменту оружие, начиная с былинной палицы и кончая пулеметом Кирсанова. Я обращаюсь к таким образам не случайно — анализы и построения Асеева имели всегда активно-наступательный характер.

Мы в то время ловили каждое его слово на лету. Его устами — нам казалось — вещал сам Маяковский. Конечно, это было далеко не так, Асеев всегда оставался Асеевым, но отзвук не услышанного нами громыхающего голоса нет да нет, а доносился сквозь его речь.

Потом прочли свои стихи Евгений Агранович и Костя Лащенко. Ни тот, ни другой не стали потом профессиональными поэтами. Но Женя тогда считался среди нас едва ли не самым «техничным», а в Костю мы твердо верили, как в будущего серьезного лирика. Подчеркну, что мы вообще верили друг в друга.

Паровоз летит, как шалый,
Распалившийся и злой,
На ошпаренные шпалы
Пышет жаром и золой...

С каким-то веселым отчаянием читал Женька, мотая в такт движения стиха и паровоза своей взлохмаченной башкой. Концовку он вывел уже на сплошном перескоке зубных и задненебных:

Ты жестокая такая,
Только б выбраться из бед,
Там под токами токая
Смою память о тебе.

— Экий павлиный хвост! — разулыбался Асеев.— Но бойко, весело и умело. Даже слишком умело. Причем умелость еще поверхностная. Звукоподражание — нехитрая штука. Современники когда-то восхищались «Камышами» Бальмонта. А это была безвкусица поразительная — подобрал человек слова на «ш» и загнал их, не заботясь о других диссонирующих согласных, в один звуковой ряд. У вас лучше, чем у Бальмонта,— утешал он Аграновича,— но это не ваша заслуга, а заслуга всей поэзии. Она шагнула далеко вперед от бальмонтовского примитива, и вы сделали этот шаг вместе с ней. Как это у вас? «На ошпаренные шпалы пышет паром и золой»? Совсем неплохо. Когда-то я писал, что талантливость поэта есть мера чуткости его звукового слуха. Может быть, это сказано чересчур категорично, но, во всяком случае, звуковая чуткость одно из качеств природного таланта. У Пушкина она была развита в высшей степени. Вспомните:

...И говор балов,
И шум пирушки холостой,
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Какая щедрая и органичная инструментовка! А звукоряды Маяковского?

Ветер подул
В соседнем саду,
В ду-
хах
про-
шел,
Как хо-
рошо!

Прочел он так, что в комнате и впрямь запахло духами.

После Аграновича поднялся со стула Лащенко. На редкость обаятельным пареньком был тогда Костя. Он приехал в Москву из Донбасса и весь светился насквозь любовью к людям и к поэзии. Было в нем некое простодушное лукавство, с которым он избегал ненужных ссор и столкновений, но когда доходило до главного, он становился неожиданно жестким и непримиримым. Стихи он писал неумелые, но в них была неподдельная лиричность. Для меня до сих пор остается психологической загадкой, почему он отказался от поэзии,— люди такого склада, слабо ли, сильно ли, но привержены к ней обычно до конца жизни. С мягким придыханием Костя читал:

Мы с тобой годами разошлись
На одно березовое лето.
Может, только больше у тебя
Номер комсомольского билета...

Асееву понравились эти строки. «Какая верная примета времени и как она здесь естественно появилась,— искренне обрадовался он.— Ведь действительно вы старше ее на несколько месяцев и соответственно раньше ее вступили в комсомол. Но главное, что этот образ мог возникнуть только в наше время и только у человека, для которого комсомольство так же органично, как само его существование. А то пишет молодежь стихи, и неизвестно, гимназию она кончает или советскую деся-

тилетку. Здесь же без фанфар и барабанных палочек прозвучала органическая нотка. Молодец. Но стихи вам надо поучиться писать: в одном месте рифмуете подряд, в другом через строку. Эдак не годится».

Дошло дело до меня. Я волновался мучительно, до головокружения. Мне казалось, что я пишу стихи не хуже, чем Костя и Женя. По-другому, но не хуже. А вдруг окажется, что лучше? Вдруг Асеев поразится появлению нового таланта? Скажет веские и значительные слова и поздравит меня с блестящим началом? А вдруг разругает вдребезги, произнесет беспощадный приговор, отсоветует вовсе писать стихи. Но нет, этого не может случиться, у меня есть что ему показать! Так я переходил от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, ожидая своей очереди. И вот, наконец, я стою посредине комнаты, вцепившись помертвелыми пальцами в спинку стула, и читаю свои стихи.

Господи! Что я читал! До сих пор, как вспомню, обжигающий стыд охватывает мою огрубевшую в литературных поединках душу. Но без шуток, я и впрямь при этом воспоминании заливаюсь краской, как будто мне снова 18 лет. «Песня юнги» — так назывались эти бесподобные стихи. Весь набор псевдоромантических и псевдоморских штампов был израсходован на них без остатка. «Синеглазый вечер... Девушка... Прощанье... Сумрак зажигает в гавани огни...» И те де и те пе. Были там и «вспененные волны», и «бесшабашный ветер», и конечно же «синие просторы». Но всю эту белиберду я декламировал с неподдельным пафосом, разгораясь по ходу чтения все больше и больше. И тут произошло чудо! Асеев встал с кресла и, как завороженный, не сводя с меня глаз, стал пятиться к двери в спальню. Лицо его выражало неподдельный восторг, он просто пожирал меня глазами. «Понравилось! — обожгла меня ослепительная догадка.— Понравилось, черт побери!» Асеев наткнулся спиной на дверь и ухватился за ко-

сяк, по-прежнему не отрывая от меня восхищенного взгляда.

— Оксана! — позвал он.— Оксана, иди скорей сюда...

«Зовет жену... Вот так успех... Ах, как здорово»,— мелькало в моей помутившейся голове. В комнату вбежала Оксана — та самая, что «шла ветрами по весне» в знаемых наизусть стихах, а в жизни милая и добрая Ксения Михайловна.

— Оксана! — возопил Асеев.— Ты посмотри, ка-кие у него глаза! Ка-кие глаза, умереть можно!

Все во мне оборвалось. Я пробормотал последние строчки злосчастной «Песни» и умолк. Меня тормошила Ксения Михайловна, весело хохоча и говоря какие-то женские приятности; радостно шумел хозяин дома, повторяя сакраментальную фразу; неразборчиво гудели ребята, отнюдь не понимая размеров обрушившегося на меня несчастья. А я стоял среди этого шума и смеха — доброго шума, доброго смеха! — и готов был провалиться сквозь паркет. С последней надеждой и с начавшимся отчаянием я вскидывал глаза — «Какие глаза!» — то на Асеева, то на Ксению Михайловну, то на друзей...

Ни слова о стихах!

И даже в передней, когда, прощаясь, я все же заикнулся: «А как вам мои стихи?» — Асеев опять дернул за руку Оксану и с обидным восхищением повторил: «Нет, ты посмотри, какой парень. Глазища-то, а? Смерть девчонкам!»

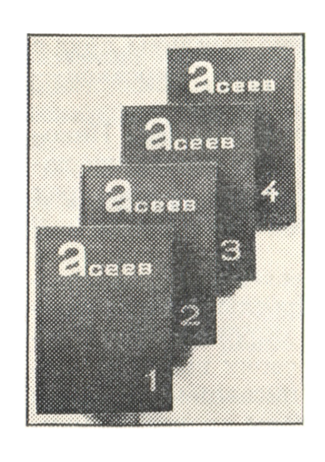
С тех пор прошло много лет. Мне уже недалеко до тогдашнего возраста Асеева. Со спокойным сочувствием смотрю я на худощавого широкоплечего парня, который, отделившись от друзей, размашисто шагает по ночной Москве. Он смаргивает слезы, но не вытирает их, совсем еще юнец. Но вот он остановился и с размаху ударил кулаком о фонарный столб.

В эту ночь он изорвет в клочки три тетради, исписанные сверху донизу. Он попробует начать все сызно-

ва. В 18 лет это не кажется невозможным. И все же это трудно даже в 18 лет. Ведь, как писать по-другому, он еще не знает. Он знает лишь, что так писать, как до сих пор, он не будет. А без стихов он жить не может. Но он будет жить и спустя много лет встретится с человеком, пишущим эти строки.

Вот что наделала одна фраза Асеева! Оглядываясь назад, я не могу не позавидовать Николаю Николаевичу. Вряд ли кто-нибудь из моего поколения сможет не только что одним словом, а одной лишь «фигурой умолчания» вызвать подобный душевный переворот в каком-нибудь юном поэте.

С Асеевым после я встречался много раз. Уже через год он обрадовал меня до умопомрачения, сказав про свеженаписанное всего два слова: «Это — стихи». Утвердительная интонация показала мне, что я стучусь не в глухую дверь.



БОРИС СЛУЦКИЙ

МОЕ ЗНАКОМСТВО С АСЕЕВЫМ

Когда я — в пионерском возрасте — начал читать Асеева, сразу и навсегда влезли в память строки:

Мне никогда не будет сорок!

И еще:

Да здравствует революция,
Сломившая власть стариков!

Когда — уже после войны — мы сошлись с Асеевым дружески, ему было за шестьдесят. Я знал Асеева-старика, властного и редко терпевшего возражения. Он ничего не редактировал, нигде не заседал, появлялся на люди очень редко. Но у него была большая власть большого таланта. Асеевское слово много весило — хвала и хула — и многое решало.

Другим досталось видеть Асеева молодым. Маяковский называл его Колькой, правда только в стихах.

В жизни они были на «вы», изысканно вежливы друг с другом. Сельвинский звал Асеева Колечка, Кирсанов — Коля.

А для меня Николай Николаевич всегда был Николаем Николаевичем. Ровно тридцать лет разделяли даты нашего рождения, и мы оба не забывали об этих трех десятилетиях. Естественно, Асеев больше говорил, я больше слушал.

Другие поэты расскажут про Асеева-юношу, зачитывавшегося поэзией и словарями старославянского языка, расскажут о фронтовике первой мировой войны, отравленном газами и до конца дней своих выкашливавшем это отравление, о газетчике, писавшем листовки для подпольщиков Владивостока в годы японской оккупации, о задире, которому Алексей Николаевич Толстой укоризненно говорил: «Жестокий вы человек, Асеев».

Я знал другого Асеева — старика.

Правда, это был совсем особый старик. Он был сед как лунь, прекрасной, цвета старого серебра, сединой. Как лунь, он хохлился над письменным столом, жаловался на болезни. Но когда я напечатал стихи, где сравнил его не с лунем, а с другой хищной птицей — с ястребом, Асеев обиделся, распрямился, расправил плечи, нахлобучил на седину шапку, и вдруг из-под шапки глянули зоркие, уверенные глаза, осветившие твердо очерченный профиль спортсмена, солдата и забияки.

Иногда я встречал у Асеева старичка еще более старого, чем он сам. Он являлся с тощей брошюрой, изданной московским ипподромом. Разговоры о людях и стихах временно прекращались. Начинались разговоры о лошадях. Николай Николаевич перелистывал расписание заездов, вчитывался, вдумывался, делал пометки. Старичок (он именовал себя секретарем Асеева) кое-что оспаривал, кое с чем соглашался. Врачи месяцами не

выпускали Асеева из дому. Секретарь, сам старый лошадник, смотрел за Асеева скачки, потом приходил и рассказывал. Кровь снова играла у Асеева по жилушкам.

Я листаю асеевские страницы, и по всем пяти его томам скачут кони — не замученные коняги с кроткими глазами, а веселые кони эскадронов и ипподромов.

С неба полуденного
жара, не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Или:

Жизнь отходит как скорый —
на коня!
Стисни зубы и шпоры:
нагоняй!

Нет, недаром ходил Асеев на бега!

Как это ни странно, одна из книжных полок Асеева напоминала полку любого читателя «Пионера». Там стояли Брет-Гарт и Стивенсон, изрядно залистанные и зачитанные. О Брет-Гарте, на его темы были даже написаны стихи.

Но у Асеева были и другие полки.

Зная русскую литературу, как свой дом — со всеми углами и закоулками, Асеев решительно предпочитал Гоголя и Достоевского. О Гоголе написал поэму. Достоевского перечитывал всю жизнь. Почему Достоевского, а не, скажем, Толстого или Чехова? Интересно, что Маяковский тоже был связан с Достоевским особо прочными связями. Может быть, потому, что непрекращающийся спор, идущий во всех романах Достоевского, спор о самых важных вещах: о жизни, о смерти, о России, о предназначении писателя,— спор, где всем дают выговориться до конца, совпадал с предреволюционной и

революционной молодостью Асеева и Маяковского. Оба они были, как сказал бы Достоевский, «русские мальчики». Оба решали — и на долгие годы решали — судьбы мира.

Были еще ученые книги по языкознанию. Одна из них «замотана» у меня, что представляет предмет моей гордости.

Я никогда не видел у Асеева поэтов его поколения. В самом деле, восьмой этаж, лифт работает не так уж часто. Кроме того, поэты так усердно предаются культу дружбы в юности, что рано устают и выдыхаются (в этом отношении). Зато молодых поэтов, начинающих и начавших, он привечал. Иногда Асеев звонил:

— Я хорошо себя чувствую. Присылайте побольше.

На балкон седьмого этажа асеевской квартиры взобралась молоденькая ива, прижилась и росла высоко над уличным грохотом, над обыденностью.

Когда на этот же седьмой этаж взбиралось нечто молодое, зеленое, неумелое, его встречали с честью.

Пришел однажды неустроенный студент и стал собирать по забытым журналам забытые самим Николаем Николаевичем статьи...

И насобирал целую книгу, целый том собрания сочинений.

Сейчас он критик и литературовед.

Пришел поэт и сразу понравился двумя строками:

Я на березе месяц вырезал.
Я целый месяц этим выразил.

Если бы собрать в один зал всех поэтов СССР,— а ведь только для поэтов с членскими билетами Союза писателей понадобился бы зал тысячи на полторы человек,— и спросить: «Кому Асеев помог делом?» — встало бы, наверное, сто — сто пятьдесят человек.

А если бы спросить: «Кому Асеев помог словом, своей поэзией?» — встали бы, наверное, почти все.

Конечно, больше всего Николай Николаевич любил стихи, и особенно стихи Маяковского.

Много лет, а точнее лет восемь после возвращения Николая Николаевича в Москву с Дальнего Востока, они вместе жили, встречались почти ежедневно, вместе сочиняли, вместе обдумывали многое и рядом, плечом к плечу, стояли во всех литературных драках — за новую поэзию — и во всех политических драках — за Советскую власть.

Однако, рассказывая о Маяковском истории, подчас смешные, Николай Николаевич никогда не забывал, что дружил он не только с человеком, и поэтом, и неутомимым путешественником, но и с чем-то похожим на молнию, на ураган.

Я видел едва ли не все памятники, фотографии, живописные портреты Маяковского, но больше всего — если не считать стихов — мне помогло понять, кем он был, пламя, загоравшееся в глазах его друзей, когда речь заходила о Владимире Владимировиче. Зажженные им и опаленные им, они до конца несли частицы этого пламени.

Однажды Николай Николаевич сказал:

— Перечитайте Маяковского. Там нет и двух стихотворений, написанных на одну и ту же мелодию. С одной и той же интонацией. Всегда заново, словно в первый раз.

Они были совсем разные поэты, с разными характерами, разными тембрами голоса, разными судьбами. Много раз мне встречались люди, предпочитавшие тенор Асеева басу Маяковского. Но Николай Николаевич не хотел об этом слышать. Как ветвь, захваченная ураганом, он сохранил верность урагану.

С утра, сев за стихи, почитав Гоголя или Брет-Гарта, Асеев в добром расположении духа наносил длительные визиты (по телефону). В его звонках не было никакого конкретного дела. Это были беседы, споры, диспуты, перемежаемые легким ворчанием.

Я запомнил содержание одного такого звонка, может быть, из-за его длительности — сто минут. Сначала Николай Николаевич сообщил мне, что ему пришла в голову важная мысль: объем строфы — и обычного четверостишия и редкостной октавы — связан с объемом грудной клетки поэта.

Ведь строфа — с трибуны — читается, как правило, от вдоха до выдоха. Естественно, широкогрудый Маяковский мог уместить в строфу много больше, чем его худосочные современники. Эта мысль иллюстрировалась чтением пяти старинных стихотворений из сборника Кирши Данилова. Киршу Асеев по заслугам чтил и постоянно пропагандировал.

Чувствуя, что я не вполне убежден, Асеев наизусть, не бегая за книгами, прочитал мне две старославянские молитвы и две греческие.

На этом теоретическая часть звонка была кончена. Пошли воспоминания. Я часто расспрашивал Николая Николаевича о героях его вещей.

Героиней поэмы «Королева экрана» была красавица двадцатых годов, машинистка из «Огонька», снявшаяся в «Аэлите». Эта история была подробно рассказана. Потом перешли к Харькову, где я вырос. И т. п. и т. п.— сто минут.

Стариковские стихи Асеева, собранные в книге «Лад», прекрасны. Не раз там рифмуются и по-всякому комбинируются слова «песней» и «пенсией». Асеевская песня не вышла на пенсию даже тогда, когда самому певцу была по всем правилам выправлена пенсионная книжка.

Однажды заседала в Клубе писателей редакционная коллегия очередного «Дня поэзии».

Внезапно пришли и сказали: умер Асеев, надо спешить писать некролог. В некрологе должны быть даты, факты, названия.

Дали мне тоненькое «дело» с асеевскими анкетами, и там в графе «Ваше отношение к Союзу писателей» я прочел гордое слово «Основатель». Так умер один из главных основателей нашей советской поэзии.

Глава XIII

Не приступ сердечной падучей
И не для того чтоб умаслить молву —
Только чтоб не вошли в великопостник
Я начинаю
Эту главу.
Мне в Маяковском
Ценны не мощь,
Не взор, горящий безжалостным огнём.
Страшусь,
Чтоб не вышел он сухим
и плоским, —
чем трибун,
всегда клокотавший в нём.
Теперь
На стене,
Застеклен и обрамлен,
Глядит он с портретов
Хмур и угрюм,
А где же его отменный
Темперамент,
Везде поднимавший
движенье и шум!
Разве
Из этого материала
он создан,
Что пишут биографы в книгах?
В нем каждая жилка
Зрительно играла
И трезвою играть заставляла
других!
Вокруг него
Огромной каруселью



Ф. МАЙСКИЙ

ВСТРЕЧИ С Н. Н. АСЕЕВЫМ

Поэма Н. Н. Асеева «Маяковский начинается» не была еще полностью написана, но в отрывках ходила по всей стране. Их читали поэты, студенты, любители поэзии.

15 октября 1939 года я пошел на чтение поэмы. Это было в Москве, кажется в клубе МГУ. Зал был настолько переполнен, что мне пришлось остановиться там, где вошел,— у входа.

Н. Н. Асеев легко и быстро подошел к рампе. Худощавый и стройный, с серебром в волосах, он казался юношей, пришедшим на вечер поэзии.

Н. Асеев начал читать. Зал замер. От главы к главе нарастал интерес, нарастало напряжение, аккумулировалась великая энергия поэтического слова. Когда Н. Асеев дошел до главы, а в главе до места:

Вдруг до них
Из дальней дали
Лунной ленью залитой...—

и холодок побежал по спине, и мурашки появились. Да разве этими ощущениями передашь великое волнение от волшебного слова?

Кончилась главка... Секунду стояла удивительная тишина. Затем поднялась невообразимая буря — шквал оваций. Хлопали, стучали, неистовствовали...

А Н. Н. Асеев стоял смущенный, немного растерянный, удивленный такой любовью к его поэме. Его не отпускали. Он читал.

В 1943 году, когда я работал над словарем советских поэтов, я написал из Челябинска Николаю Николаевичу Асееву. Он ответил. Вот это письмо, которое представляет несомненный интерес:

«Москва, 28 сентября 1943.

Глубокоуважаемый Федор Федорович!

Я издревле и кровно ненавижу писание всяческих автобиографий и анкет. Вся моя жизнь отражена в стихах: «Курских краях» — детство, в ранних стихах — Москва и Дальний Восток, затем за советский период последовательные фазы развития.

Что же касается подробностей, мало для кого интересных, то ей-богу же тот, кто интересуется моими стихами, найдет их в строчках, а тому, кто и стихов не любит, не важны и подробности. Поэтому ограничусь датами. Родился в 1889 году в городе Льгове, бывшей Курской губ. Рос с дедом и бабкой — самыми близкими мне родичами. Мать умерла рано, отец обзавелся другой, чужой мне семьей. Бабка была крепостная, дед «дикий барин», охотник, фантаст из орловских дворян. Познакомился с крестьянкой чужого помещика на охоте и украл ее, увезши и обвенчавшись тайно. От них у меня язык и чувства. Учился в Курском реальном училище, окончил его, кажется в 1909 году, затем поступил в Московский коммерческий институт, но коммерческих

талантов не обнаружил и с экономического отделения перешел вольнослушателем в университет на филологический. Здесь познакомился с начинающими литераторами, молодежью увлекающеюся, не признанными еще до конца символистами. Увидел Брюсова, Сологуба, Белого. Затем знакомство и молодая дружба с Б. Пастернаком. Но все затмило знакомство с Маяковским, сразу как-то пришедшимся по душевной мерке.

С тех пор длительная, я бы сказал, не дружба даже, а взаимная порука друг за друга с ним, самым близким мне из людей, за исключением жены, человеком. Это и до конца его жизни. Мы были друзьями по работе, по взглядам, по общим вкусам. Мы умели молчаливо понимать друг друга... Мы разъезжались, не виделись долгое время, но никогда не отдалялись и не разлучались друг с другом внутренне. Это было главное в жизни. И главным осталось и после его смерти. Вот и все, что может интересовать читателя.

Библиографией своей я тоже никогда не занимался. Выпущено что-то очень много книг — названий до ста, начато было Госиздатом полное собрание, да что-то за недосугом оставлено. Вышло как будто четыре тома. Дальнейшее разбросано по журналам и газетам. Совершенно потерялось из виду множество статей по литературе, по стихотворчеству. Кой-какие из них собраны в сборниках «Проза поэта» и «Дневник поэта». Но все это было очень давно. После было написано лучше и подробней, но — затерялось. Да, может быть, это и к лучшему. Я теперь бы выпустил один том, собрав в нем все действительно ценное, освободясь от временной шелухи и злободневной полемики, вызванной необходимостью отгрызаться и отстаивать право на работу так, как ты ее понимаешь в лучшем смысле. Все это ненужно и неважно: важна сама работа, сами стихи. Они рассказывают и убеждают прочнее, чем самые очевидные аргументы.

Переводили меня не так много, но все же переводили. Англичане, чехословаки, поляки. Кое-что французы. Недавно только получил перевод на китайский. С грустью посмотрел на него, ничего не смысля в этих красивых, аккуратных, сверху вниз идущих рядах иероглифов. Лучшие переводы сделаны на английский язык Гербертом Маршаллом.

Вот и все, что могу сообщить Вам, Федор Федорович, о себе. Люблю я больше всего на свете из писателей Льва Толстого, Диккенса, Маяковского, Хлебникова, Блока, Гоголя. Остальные в запасе. Не люблю — подражателей и стилизаторов. Это — накладные расходы литературы.

Буду рад, если эти бедные сведения пригодятся Вам в Вашей работе. Руководясь именно этим и посылаю Вам их; по иным соображениям посылать бы ни за что не стал.

Искренне Вас уважающий Ник. Асеев».

Я присутствовал на заседании областной комиссии Союза советских писателей, где И. П. Уткин делал доклад о стихах иркутских поэтов. Здесь же сидел Николай Николаевич Асеев. Он выступил в прениях и поддержал докладчика, который требовал от поэзии лирики. Н. Н. Асеев говорил, что надо овладевать высокой культурой стиха, искать и беречь русское слово.

После заседания я пошел за Н. Н. Асеевым, представился ему и просил разрешения зайти к нему поговорить о поэтических делах. Он очень любезно согласился, дал номер своего телефона и попросил позвонить. Звонил я ему 29 апреля, и мы условились о встрече с ним 30 апреля в 19 часов.

Приведу дневниковую запись от 30 апреля 1944 года.

«К 19 часам я уже был у серого дома писателя в проезде МХАТа. Поднялся на седьмой этаж к Асееву. Его еще не было, но меня приветливо встретила жена Окса-

на Михайловна. Усадила в кресло, и мы разговорились.

Оксана Михайловна с горечью рассказывала, что Николай Николаевич не бережет своих рукописей.

— Пишет за столиком, затем бросает под него целые исписанные листы и кричит мне: «Оксана, убери эту гадость, выброси в мусорный ящик». Но я, признаться вам по секрету, не выбрасывала.

Наконец позвонил Н. Н. Асеев и извинился, что задержал меня. Тут же по телефону сказал, что быстро придет. Действительно, через тридцать — сорок минут он пришел.

— В Клубе писателей задержали... Спрятали пальто, чтобы я больше прочел стихов.

Оксана Михайловна приготовила чай, и начался разговор о литературе, стихах, поэтах, Маяковском, эвакуации, войне.

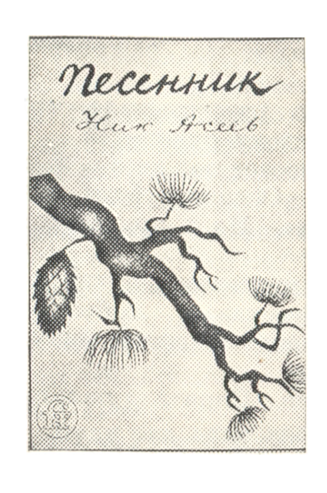
В начале войны Оксана Михайловна уехала из Москвы, а Николай Николаевич остался один. Он стал работать в редакции газеты «Правда» — читать присланные туда стихи и отвечать авторам. Работа была для Асеева неинтересной. Наконец он уехал в Чистополь. Здесь стал работать над поэмой «Пламя победы». Поэма печаталась отрывками в местной газете.

Есть удивительно хорошие и сильные места. Я попросил:

— Дайте прочитать всю поэму.

— Хорошо...

В кабинете, куда мы перешли после чая, я просмотрел рукописи поэмы. Все написано на отдельных, разрозненных листах, не пронумеровано, разбросано. Недаром Оксана Михайловна сетует, что рукописи пропадут...»



ЯКОВ ШВЕДОВ

МОЙ СТРОГИЙ СОСЕД И НАСТАВНИК

Подобное начало видится несколько традиционным, но так трудно и отойти от него. У меня хранится небольшой томик избранных произведений Николая Асеева, изданных в 1957 году. На втором листе форзаца экспромт:

У дядюшки Якова
Книг хватит про всякого.
Пускай и соседова
Хранится у Шведова.

Н. Асеев

1958 г. 21.III.

И подарил мне этот сборник поэт Николай Асеев. Еще в предвоенные годы мне накоротке приходилось встречаться с ним, быть у него и тоже накоротке дома, в

квартире на седьмом этаже. Встреча 21 марта 1958 года была чуть ли не предпоследней. Но мне запомнилась и самая первая встреча с ним ранней весной 1924 года в доме три на Покровке[1]. Поздней осенью 1931 года я стал соседом поэта Асеева. Но вернемся к 21 марта 1958 года.

Я был дома один, работал. Вдруг кто-то резко и торопливо постучал в дверь, почти так просился в дом Алексей Крученых, изредка заходивший ко мне. Я распахнул дверь и в проеме увидал Асеева.

— Извините, сосед, что зашел без телефонного звонка. Необходим словарь Даля. Нужно уточнить и проверить одно лишь слово. У вас он имеется, мне говорил Крученых.

Я попросил Асеева пройти в комнату; пропуская его к столу, успел снять с полки четыре тяжелых тома словаря и положил на стол, отодвинул кресло, уступая соседу свое рабочее место. А он остановился у книжных шкафов, на полпути к столу. Его, возможно, несколько удивило обилие книг, приобретенных в основном еще до Великой Отечественной войны.

— А вы, сосед, как погляжу, библиофил. У вас довольно много редких собраний. И классики и приключенческие авторы подобраны совсем хорошо. Мне Алеша,— Николай Асеев имел в виду Алексея Крученых,— говорил о вашем книжном собрании, но несколько сбивчиво, бестолково, и трудно было с его слов представить подобное богатство.

Мой сосед сел за стол и неторопливо стал искать необходимое слово. А когда обрел и сделал выписку, попросил меня подняться к нему на седьмой этаж.

— Видите ли, сосед,— сказал он на лестнице,— почему я пригласил к себе? Мне предлагают приобрести

---

[1] Теперь — улица Чернышевского.

пишущую машинку. Она уже у меня. Не могли бы вы посмотреть ее и что-то посоветовать?

Николай Асеев широко открыл дверь рабочей комнаты с большим единственным окном на проезд Художественного театра и снял футляр. В это мгновение я заметил на стене пожелтевший от времени отрывной календарь, который показался чуть необычным: сегодня 21 марта 1958 года, а на календаре — 14 апреля 1930 года, день гибели великого поэта Владимира Маяковского.

С видом знатока я подошел к портативной пишущей машинке. Сказать соседу, что я в них ровным счетом ничего не понимаю,— постеснялся: я попробовал верхний и нижний регистры, немного покрутил совершенно чистый валик и сказал, что машинка в полном порядке и почти новая, на ней, как видно, еще не работали Я увидел асеевскую выписку из далевского словаря, тотчас ввел лист бумаги и перепечатал.

Мой сосед Асеев скупо поблагодарил меня и, возможно вспомнив только что увиденное собрание книг, взял из ящика стола сборник избранных произведений и на втором листе форзаца написал тот экспромт.

Но я не позабыл и самую первую встречу с Николаем Асеевым ранней весной 1924 года в комнате Михаила Светлова на Покровке. Совсем недавно поэты и писатели литературной группы «Молодая гвардия» получили при помощи ЦК ВЛКСМ комнаты вместе с ветхой мебелью, с истопниками, запасом дров, даже клопами, и справили свои новоселья М. Светлов, В. Светозаров, Н. Кузнецов, М. Голодный, И. Доронин, С. Малахов, А. Веселый, М. Колосов, Б. Ковынев, Ю. Либединский; одну комнату бюро группы решило передать поэту Незнамову из окружения Асеева и Маяковского.

Бюро группы решило создать в доме на Покровке творческий центр, своего рода литературный клуб, где молодогвардейцы смогли бы прослушать лекции на ли-

тературные темы, проводить творческие собеседования с приглашением писателей-мастеров, постигших глубину слова, чтобы нам постичь начало писательского ремесла. Бюро группы «Молодая гвардия» пригласило писателя Александра Серафимовича, он не отказался, семинар по прозе согласился вести Виктор Шкловский, а семинар поэзии — Николай Асеев. Молодогвардейцы ликовали, трое известных и опытнейших литераторов будут нашими наставниками.

На свое первое собеседование Асеев пришел незадолго до начала. Он был строен, сухощав, в его осанке да и одежде ощущалась выправка спортсмена. Его глаза, когда он стал всматриваться в светловское жилье, часто меняли оттенки: то синие, то серые, близкие к цвету стали на изломе. Он пристально всматривался в наши лица, в эти мгновения черты его лица становились чуть строже, а ранние очень мелкие морщинки — заметнее. Говорил он о поэтическом мастерстве, его первоначальных основах весомо, но просто, кажется, в его речи не было ни одного лишнего слова, он как бы выявлял еще не выявленную никем до него красоту русских пословиц и поговорок. Не было у него и становления в позу и даже полунамека и полуслова на выспренность, но и ощущалась вполне оправданная его, асеевская гордость, заслуженная за долгие годы работы в поэзии. Четко, отделяя слово от слова, он вдохновенно привел пословицу: «Не красна изба углами, а красна пирогами!» «Вслушайтесь,— обратился он к нам, молодым поэтам,— в необычайно сложную музыку, живущую не только в слове, но и в каждом слоге».

И сколько же обычных, известных ему открытий, но еще неизвестных нам, сделал Асеев тогда, на первом собеседовании. Молодогвардейцы поняли, как всеобъемлющ мир его поэтического дерзновения. Вначале многие из нас считали, что разница в годах, то есть в

возрасте, несомненно отделит нас от него, мы далеки ему, но и подобное предположение не оправдалось, мы поняли, что нам счастливо повезло, у нас есть строгий наставник — поэт Николай Асеев. После бурного спора молодые писатели попросили его прочитать свои новые стихи. И Асеев не отказался. Положив руки на спинку гнутого стула, он звонко и молодо прочитал балладу «Кумач», которую мы по заслугам возвели в ранг кумачовых, то есть прекрасных, произведений.

Чтением этой баллады Асеев завершил свое первое собеседование о поэзии, созданной народом. Вскоре он рассказал нам о поэзии Маяковского, на последующем — об истинной и настоящей поэзии древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Мир понимания поэзии впервые открывался нам. Участвуя в асеевских собеседованиях, мы старались не пропустить ни одной творческой встречи ни с А. Серафимовичем, ни с В. Шкловским.

Незаметно пришла к нам особенная, такая сердечная весна, а за ней начало лета, с ливнями, грозами и радостными радугами. В тот год мы, молодогвардейцы, получили от Московского комитета партии бесплатные месячные путевки в подмосковный дом отдыха, уехали из столицы на дачи или в Крым писатели старшего поколения. А в конце лета того же года перестал существовать по многим причинам и литературный центр на Покровке.

Ранней осенью я решил отдать свои стихи в журнал «Молодая гвардия». Я спросил старшего по возрасту Артема Веселого: идти мне в ту редакцию или обождать. Крутоплечий, в прошлом матрос черноморского флота, Артем сказал: «Смелость, брат, города берет, брагу пьет и кандалы трет! Конечно, иди!»

Возможно, что решение показать свои стихи Асееву, редактору поэтического раздела журнала «Молодая гвардия», было продиктовано не только молодостью —

мне шел девятнадцатый год,— но и первыми моими публикациями.

В резком электрическом свете, спорившим с дневным, я скороговоркой сказал Асееву, что у меня уже были напечатаны стихи в журналах «Октябрь», «У станка» и в коллективных сборниках «Под знаком Комсомола», «Рабочая весна» и что еженедельник «Красная нива», его редакторы Иван Касаткин и Лидия Сейфуллина, еще в феврале этого года поместили целую журнальную страницу моих стихотворений.

Асеев, так показалось мне, как-то отчужденно, словно издалека, сказал:

— Я запомнил вас еще по выступлению на Покровке.— Он резко опустил жестяной абажур висячей лампы, его лицо стало вдруг далеким, сместилась тень лампы.— Давайте стихи!

Я вроде и позабыл, зачем пришел к Асееву, от недавнего бахвальства — ни пылинки! Меня бросало то в жар, то в мороз, робко вручил Асееву тетрадь с двумя стихотворениями о волжанках.

Далекие, такие далекие и такие памятные двадцатые годы, годы первого становления и утверждения комсомольской поэзии. Тогда поэт или писатель, ведущий отдел поэзии или прозы, один, самолично принимал решение, тогда или брали, или сразу отказывали, но никогда не говорили о переделках и возможном варианте произведения, ограничивались лишь замечаниями, которые обычно в присутствии автора и с его помощью устраняли.

Николай Асеев низко склонил большую голову, его синие глаза на мгновение стали серыми, стальными. Я чувствовал, что в эти секунды и решается судьба стихотворений. Отложив рукопись, он встал и, прощаясь, сказал, что стихотворения будут опубликованы в ближайших номерах журнала.

...Поздней осенью 1931 года Асеев вместе с другими писателями получил квартиру в новом доме по Камергерскому. Там же, ниже этажом, поселился со своею семьей и я. Встречаться с Асеевым мы стали гораздо чаще: по-добрососедски раскланивались и расходились каждый в свою сторону.

Однажды так случилось, что мы оба решили идти пешком на писательское собрание. По дороге Николай Асеев рассказал о смерти знакомого ему бобыля, наездника с ипподрома, и что ему волей-неволей пришлось от общественности участвовать при описи имущества. Конец рассказа был неожиданным: при описи в перине обнаружили довольно крупную сумму денег, которую и передали в госфонд.

Жила бездетная чета Асеевых несколько в стороне от жизни нашего дома, у нее был свой круг друзей и знакомых, но была у Асеева большая дружба с девчонками и мальчишками нашего двора. Я видел, как он оделял их сластями. Дети тянулись к нему, поэт ласково ерошил им волосы. Возможно, что в глубине души он радовался вместе с ними, но и тогда его лицо оставалось по-прежнему строгим.

В последние годы Асеев жил больше на Николиной горе, на даче, чем в Москве. Но и тогда молодые поэты торили к нему дорогу, тогда он помог тульскому поэту Владимиру Лазареву в его поэтическом утверждении.

Это было зимою 1960 года: будучи в командировке на шахте Курской аномалии, я и познакомился с совсем молодым курянином — поэтом Александром Говоровым, приехавшим учиться в Москву из города Тима. А в начале 1942 года мне довелось участвовать в освобождении этого городка, захваченного фашистами осенью 1941 года.

В один прекрасный вечер в гостиничном номере мы

разговорились, я вспомнил о боях за Тим, это сблизило нас. А когда Говоров узнал, что я живу в одном доме с Асеевым, то признался, что с давних пор он думает о встрече с Николаем Асеевым один на один. И как было бы хорошо, если бы Асеев пригласил его к себе.

— Как-никак,— с напускной небрежностью сказал он,— мы земляки. Он из Льгова, а я из Тима.

Я пообещал помочь Говорову, когда вернемся в столицу.

Я не сомневался, что мой строгий сосед согласится на свидание с молодым поэтом-земляком. Встретив Асеева, я сказал ему о просьбе молодого поэта из Тима. Он попросил сказать Говорову номер его, асеевского телефона и что он в течение всей недели будет в Москве. Пусть позвонит.

И неожиданно на площадке, возле неработавшего лифта, я встретил счастливого Александра Говорова сходившего вниз.

— От Асеева? — спросил я.

— От него самого,— улыбаясь ответил тот.— Большое спасибо вам, если бы не вы, так запросто я и не посмел бы прийти к нему. Он просто, как говорится, очаровал. Слушал мои стихи. И хвалил, и ругал.

— В оценке твоих стихов, Саша, он был строг?

— Как это так? Он был добрым и отзывчивым. Он так на первый взгляд показался мне строгим, а в жизни, дома — совсем другой.

Да, он был неулыбчивым и строгим по виду, но всегда оставался отзывчивым и чутким. И если бы он был только неулыбчивым и строгим, то навряд ли еще в 1924 году одобрил бы мои поэтические опыты: он знал, как бедствуют начинающие; если бы он был неулыбчивым и строгим, то навряд ли вступил бы в переписку с

поэтом-туляком Владимиром Лазаревым и, наверное, не пригласил бы к себе поэта-курянина Александра Говорова.

Он любил родину, жизнь и поэзию, которой был верен до конца жизни. Годы идут, мало осталось в живых моих друзей-молодогвардейцев, но живые не забыли, что в одно время их строгим наставником являлся человек большой души — взыскательный и строгий поэт Николай Николаевич Асеев.



ДМ. МОЛДАВСКИЙ

ПОЭЗИЯ И ФОЛЬКЛОР

Мне трудно писать об Асееве. Трудно, потому что этот поэт принадлежал к той великой плеяде, которая начинала искусство социалистической страны: Маяковский, Мейерхольд, Шостакович, Эйзенштейн, Пудовкин... Рядом с ними — Николай Асеев. Он был с великими, был великим. Как и для них, революция была тем кислородом, который бушевал в его легких. Он для меня был всегда «Николаем Асеевым» и в меньшей степени «Николаем Николаевичем», хотя последние три-четыре года его жизни мы дружили. Разумеется, я не принадлежал к числу его самых близких друзей, но бывал в доме у Н. Асеева, мы переписывались, у нас были общие знакомые, и мне хочется рассказать то, что помню о поэте.

Первая встреча с Н. Н. Асеевым

Еще в 1955 году в апрельском номере «Невы» я напечатал небольшую заметку о сборнике стихотворений Н. Асеева «Раздумья». По инерции о поэте писали довольно редко, и поэт ее заметил. Во всяком случае, сказал обо мне несколько доброжелательных слов одному из моих друзей. Это придало мне решимость, и когда В. Е. Баскаков предложил пойти вместе с ним навестить поэта (я был в командировке в Москве), я немедленно согласился.

Переулок МХАТа, лифт, вознесший нас на многоэтажную высоту... Нам открывает дверь женщина, которая мне кажется очень молодой. Я даже подумал — вот, мол, поэт писал: «Я тебя запомнил докрепка, ту, что много лет назад без упрека и без окрика загляделась мне в глаза», а у самого, поди, третья жена... Симпатяга кот подошел потереться о ноги. И мой приятель, наклонившись, вполголоса сказал не то мне, не то коту:

— Узнаешь? Это и есть Оксана. Ксения Михайловна. Та самая. Помнишь?

Не за силу, не за качество
Золотых твоих волос
Сердце враз, однажды, начисто
От других оторвалось...

Мы вошли в комнату. Это была узкая комната. На диване сидел, прикрыв ноги пледом, седой человек с близко поставленными, очень живыми, пронзительными глазами. Встретил нас оживленно, хотя было видно, что он болен, и болен давно. На вопрос о здоровье ответил резко, как бы запрещая в дальнейшем возвращаться к этой теме:

— Здоровье? Здоровья, простите, нет... Чего нет, того нет!

И дальше пошел разговор, который мне легко воспроизвести, потому что я, придя в гостиницу, немедленно записал почти полностью то, что касалось литературы.

О чем только не говорили. Собственно, мы в основном молчали — говорил Николай Асеев. Говорил оживленно, жестикулируя, цитируя стихи и целые куски прозы... Это была речь человека, который живет литературой. Конечно, в разговоре шла речь о Маяковском. Н. Асеев вспоминал о нем, подтверждая ту или иную мысль, отнюдь и не предполагая, что перед ним могут быть жалкие люди, для которых Маяковский — не величайший авторитет. Вопрос «с кем мы» был, по-видимому, решен Николаем Николаевичем до нашего прихода...

И сразу же от Маяковского — переход к молодым. Речь пошла о стихах Виктора Сосноры (Николай Николаевич дал нам всем прекрасный образец, как надо помогать одаренному человеку). Снова стихи — свои, Маяковского, доброго десятка стихотворцев.

Иногда в разговор включается Ксения Михайловна — она также великолепно знает мир стиха.

Николай Асеев читает поэму. Эта поэма о земляках-курянах, об истории нашей страны, о трудном, о тяжелом, о радости преодоления.

Поэма не закончена. И Асеев просит говорить о ней. Мы несколько смущены. Но делать нечего. Начинаем разговор. Здесь я получил серьезный урок. Мне приходилось десятки, а может быть, и тысячи раз говорить с поэтами об их стихах и выслушивать их контркритику, сводящуюся к остроте Евгения Шварца: «Хороший критик — это тот, кто хвалит меня, плохой — тот, кто ругает!» Сколько раз после даже очень скромных замечаний я видел на челе друзей-пиитов почти нестерпимую обиду и слезы воинственного гнева.

Николай Николаевич слушал внимательно. Он даже подбадривал нас. Он даже вытягивал самые острые, несглаженные определения. Конечно, вещь, которую он нам читал, была интересна. И конечно, многое из того, что мы говорили, вряд ли было очень справедливым — мы ведь хотели услышать нового «Семена Проскакова» или что-то вроде «Маяковский начинается».

Но Асеев — оставался Асеевым. Он слушал, регистрируя замечания и отбрасывая вежливые «прокладки» между ними.

Я понял отличие настоящего поэта от тщеславных стихотворцев.

Впрочем, было и еще одно — удивительная симпатия и доброжелательство (без похлопывания по плечу, без скидок на хороший характер и прочие качества) к молодым.

Снова разговор о Маяковском, о Велимире Хлебникове.

Доказывает, что Хлебникова издают неверно — берут начало одной поэмы и конец от другой.

— Какой Хлебников футурист? Если уж хотите — он архаистом был. Знал ли он исследования Сахарова? Вы нашли у него прямые цитаты? Конечно, знал. Вообще очень хорошо знал фольклор и древнюю литературу — не только русскую, но и восточную... Хлебников любил читать на память Маяковского, Асеева и Алексея Константиновича Толстого.

...Я сижу в комнате Николая Николаевича и слушаю стихи. Письменный стол, шкафчик с книгами, второй шкафчик, на котором стоит фотография поэта. Н. Асеев — на трибуне. Это лучшая его фотография. В квартире есть несколько картин Марии Синяковой — сестры Ксении Михайловны — хорошей и оригинальной художницы, репродукции Ван-Гога и Рублева да еще огром-

ный глиняный зверь — народная украинская лепка, подарок П. Г. Тычины.

Пора уходить. Я оставляю Николаю Николаевичу свою книгу «Русская сатирическая сказка» и беру несколько стихотворений Виктора Сосноры, чтобы передать их А. Л. Дымшицу, заместителю редактора газеты «Литература и жизнь». Через день стихи были напечатаны с маленьким асеевским предисловием. А еще через день — кажется, это было 4 марта 1960 года — я снова пришел к Н. Н. Асееву.

Разговор пошел о собирании фольклора. Н. Асеев не просто хорошо знал народное творчество. Он видел в нем те стороны, которые обычно ускользали от исследователей. Он видел в нем не черты прошлого, а черты будущего. Необычайная гибкость слова, неожиданность образов и размеров — все это он связывал с теми новаторскими тенденциями, которые всегда были и есть у народа. Характеристики, даваемые Николаем Николаевичем, были не всегда справедливы, но всегда остры.

Разговор зашел о живописи — Николай Николаевич хорошо знал ее. Потом о музыке и театре... Я еще раз убедился в широте мысли у тех, кто начинал наше искусство и литературу.

Потом прочитал стихи о курской руде, о тех самых залежах, которые только в наши дни стали разрабатываться.

Несколько писем Н. Н. Асеева

Я уехал из Москвы с мыслью, что должен, обязательно должен написать о поэте. Это ощущение было у меня и раньше. Сейчас оно стало особенно реальным.

В короткие приезды в Москву я заходил к Николаю Николаевичу, иногда разговаривал с ним по междугородному телефону. Мы переписывались. Я писал ему из маленьких городков из-под Курска, в одном из них —

Льгове — он родился, писал из Киева, из Еревана. И получал письма в ответ. Стараясь не докучать Асееву, расспрашивал об его жизни.

Фольклор, древнерусский язык, старинная литература — все это Н. Асеев объединял и, как мы знаем, имел на это много оснований. Я спрашивал его, что он читал из древнерусской литературы. Он писал, что читал Даниила Заточника, Ипатьевскую и Новгородскую летописи, «наверно, не только это, но теперь уже не помню».

В этом перечислении он не упомянул о «Слове о полку Игореве», о своей любви, пронесенной буквально до последнего дня. Может быть, потому и забыл, что ощущал его как нечто современное...

Разговор шел и о различных собраниях — лубка, сказок, песен: Н. Н. Асеев с детства знал многие собрания. На мой вопрос, какие именно, он отвечал: «Ровинского альбом лубков с подписями я видал также в ранней молодости, с цветной печатью. Афанасьева сказки не помню, читал ли, но помню собрание русских и украинских стихов и песен — чье, боюсь ошибиться, оно меня увлекало до сердцебиения... Может, это и было собрание Сахарова? Но вот боюсь утверждать безошибочно. Во всяком случае, Сахарова я узнал много позже, как и другие сборники фольклора. Но это первое впечатление осталось навеки: это песня о «джуре»: «О, джуро, мой джуро» — трагическая и яркая, как будто бы спетая самим Тарасом Бульбой. К этим же впечатлениям ранней молодости относится и «Вий» Гоголя, который ведь тоже фольклор, восстановленный и введенный в литературу Гоголем» (1960, 10 марта).

Имя Гоголя очень часто упоминалось Н. Асеевым — это был один из самых любимых его писателей; в какой-то степени он ощущал свою параллель к нему — не только языковую — в тонком понимании русского и украинского языков. Характерно, что на мой вопрос о

происхождении известного стихотворения «Песня запорожцев» («Тулумбасы, бей, бей, запороги, гей, гей! Запороги-вороги — головы не дороги. Доломаны — быстрь, быстрь, похолоним Истрь, Истрь!») он отвечал: «...пришло неизвестно откуда, может быть, от желания сказать свое слово, не заношенное еще другими. Нужно напомнить, что в то время я увлекался Гоголем» (1960, 8 октября).

В одном из писем Николай Николаевич написал целый трактат на тему известной поговорки. В нем было великолепное чувство языка, гражданский пафос человека. Привожу первую половину этого письма: «Позвольте Вам предложить маленький трактат на тему моей любимейшей пословицы — «что написано пером, не вырубишь топором». Дважды справедливый смысл ее настолько искусно заключен в замечательную форму, что сразу и не приметишь, насколько контрастны между собой вес пера и тяжесть топора. Ведь пословица-то создалась во времена очиненных перьев, не стальных и не машинных!

Я написал «искусство» даже без второго «с» именно потому, что имел в виду уста, ее произносящие, а не искушенность в том или ином ремесле. Для чего же я взял за тему письма к Вам эту пословицу? Во-первых, потому, что смысловое значение помогает без лишних слов оправдаться перед Вами в неответности на Ваши письма ко мне.

Так вот: что написано пером, не может быть вырублено топором. Вырублено и в смысле уничтожения сказанного и в смысле тонкости передачи мыслей и ощущений. Понятно? Отписываться же абстрактно я не умею и не выходит это у меня; потому и молчал. Слишком много огорчений по поводу той эрзац-литературы, которая стала обычной практикой сегодняшних журналов и газет...

Вы занимаетесь народным словом; смотрите, как в

приведенной пословице срифмовано, падежное окончание слов с учетом звука «р», сообщающего полнозвучие всей конструкции фразы. Этого еще долго не будут знать наши рифмачи, продолжающие склеивать слюной незатейливые смысловые построения! Долго не будут знать, что народу известно уже столетия. Почему невежеству дано предпочтение? Почему топором вырубаются все попытки обратить внимание на то, что многообразие высказываемого обеспечивает удачу и, наоборот, однообразие приводит к бесплодию искусства.

Ну вот теперь я могу с Вами говорить и о второстепенном. Все лето проболел — бронхи и сердце, кашель и одышка. Почти что задышка. Так что и лета не видал, лежал лежмя. Единственно, что помогало — это Диккенс с его человечностью-бессмертностью; да, вот уж этого не вырубит никакой топор и этого не сможешь воспроизвести никаким топорищем. Кстати, «топорностью» ведь и называется всякое грубое изделие. Ну, на этот счет в нашем искусстве недостатка не встречается» (1960, 30 августа).

Болезнь была для Николая Николаевича — «второстепенным». Очень тяжело больной человек, он относился к ней как-то иронически,— без преувеличения должен сказать, что жизнь Асеева последних лет была жизнью героической. И героической была жизнь Ксении Михайловны, сделавшей все, чтобы отбросить, отбить, отодвинуть страшную развязку.

В открытке, написанной 25 апреля, Николай Николаевич писал, что задержал ответ по простой причине: «...не только писать, но и дышать было нечем». А дальше он говорит о моей книге, сборнике народной сатиры, шутит, что отныне будет меня именовать «Фольклор-Молдавским», и переходит к «первостепенному»: «Что я делаю? Читаю Кронина «Памятник Крестоносцу» — лучшая книга за последние литературные тридцать лет. Жду свою книгу «Зачем и кому нужна поэзия?». Изда-

ется в «Советском писателе». Там про стихи и про их начала».

Письмо, написанное раньше, 23 января, начиналось так: «Пишу Вам на небесно-голубой бумаге, оставшейся еще от того времени, когда настроение у меня было того же цвета. Я вынужден довольствоваться стихотворными строчками, сочиняемыми во время отсутствия нормальных ночных снов. Как, например:

Пятнадцатое января;
должны быть лютые морозы,
а (про погоду говоря) —
одни неверные прогнозы».

И вот в этом письме идут дальше эпиграммы!

Прикованный к кровати человек живет не жизнью своей болезни,— он живет литературой.

То самое письмо, которое говорит о болезни как о второстепенном (1960 год, 30 августа), дальше переходит в рассказ о главном. Человек, лежащий на постели, оставался человеком, живущим большой жизнью страны: «Я и не писал ничего, что бы могло конкурировать со всеобщей улыбочкой, готовностью угодить редакторам. Но вот прочел о людях Бухтармы и не мог уйти от соблазна хотя бы отчасти откликнуться на неимоверность их упорных трудов. Стал думать, и представились мне ущелья скал, сквозь которые прорезывается Иртыш, одинокость природы, невероятность условий и усилий и конечную победу над Сибирской глушью. Подумал, что, если бы лермонтовский Демон увидел эти скальные прорези, отроги Алтая,— он бы бросил Кавказ, перебазировавшись с Дарьяла на Иртыш... Так и написалась эта маленькая поэмка. Ее быстро напечатали в «Литературе и жизни».

Современность и история соседствовали у Асеева и в стихах, и в статьях, и в письмах. Я спросил его об источ-

никах стихотворения «Чернышевский». Он ответил: «О Чернышевском читал его биографию и воспоминания. Поразило воображение то, как его граждански казнили у позорного столба, а случайные зрители как будто бы даже насмехались над «баринком», лишившимся своих привилегий. Еще то, что был в это время дождь, слякоть, сырость как в погоде, так и в обществе» (1960, 8 октября).

Дальше писал он о новаторстве в поэзии: «Сказать свое слово, как бы оно ни было вначале невнятно и невосприняте. Позже оно себя оправдает и в более общепринятых словах».

Письмо, в котором Николай Николаевич писал мне о Сахарове, Ровинском и пр. и где отвечал на мой вопрос о том, какое место в его творчестве занял фольклор («Какое место это заняло все в моих стихах? А я и сам не знаю. Вначале это было подражание языку летописей, но невольное, бесхитростное. Это — ранние стихи о славянах, о польских князьях, о запорожцах. Позже это вошло в язык многих, наверно, стихотворений, отражаясь в строении предложений, в оборотах синтаксиса»).

Суровый к поэтическим отступникам, он находил ласковые слова для характеристики настоящих поэтов, даже не близкого ему направления. Так он писал об «авторитете и неподкупной талантливости» Александра Прокофьева. Так писал и о некоторых других.

Об известном историке литературы Д. С. Лихачеве, с которым его связывала настоящая дружба, он говорил, как о «дорогом и талантливом ученом».

Николай Николаевич был человеком невероятной щепетильности, и однажды, отчитав меня за давние, еще военных лет стихи, написал: «Впрочем, к чему это все? Имею ли я право так бесцеремонно обращаться с чужими биографиями? С чужими — нет; но Ваша становится для меня не чужой. И хотя мы недолго с Вами знако-

мы, а мне видится давнее знакомство через собственную свою жизнь. Да и есть у нас с Вами общая любовь к слову, к народной побасенке, с виду простецкой, а внутренне сложной и трудной. Вот тут и начинается родство. А с Маяковским Вас роднит хотя бы Ваша манера украшать письма рисунками-заставками. Ведь об этом и сказано: «не прежнею спесью наш разум строг, а новые песни — все с красных строк». Не знаю, дойдет ли до Вашего чувства мое общное с Вашим во многом, но я бы очень этого хотел. Так мало людей, нуждающихся друг в друге. Друг в друге, а не во всей округе!» (1960, 16 октября).

Я привожу это письмо, понимая, что могу вызвать упреки в нескромности. Но в нелегкой жизни литератора не очень часто находишь людей, которые способны так поддержать тебя, когда тебе трудно,— лаской или шуткой. Вспоминаю, что в минуту растерянности, когда «синим огнем» горела написанная мною книга о фольклоре, Николай Николаевич подарил мне свою маленькую книжку «Самые мои стихи» с надписью: «Молдавскому — Принцу Датскому, фольклорному мученику». Я прочитал и улыбнулся. Стало легче.

Я перебираю письма Николая Николаевича с болью. Это письма человека большой души и огромных знаний. Каждая строка — клад для историка литературы, для филолога, для критика. За каждой строкой — кусок жизни:

«С 20 годов — «Кирша Данилов». Это о замечательном сборнике древнерусских стихотворений и песен, любимом Н. Асеевым. Он не раз упоминал и цитировал его в своих статьях.

«Ездил не по маршрутам, а по возможностям, то в Харьков, то в Киев, то во Владивосток, то в Италию. Все это как-то отмечено в стихах».

На вопрос о том, в какой мере следует рассматривать

его творчество от книги к книге, Н. Асеев ответил: «Книги ведь создаются не автором, а издательством со всеми морщинами времени и гримасами его».

Еще о стихах

Каждый раз, когда я приезжал в Москву, я приходил к Николаю Николаевичу. И каждый раз разговор шел все об одном и том же — о стихах.

Конечно, Николай Николаевич интересовался десятками других вещей — он был в курсе и новостей в области театра и живописи и других видов искусства. Жизнь в самом широком ее видении всегда была рядом с ним — без этого он не мог бы писать. Но главное — это стихи. Причем — мы будем об этом говорить дальше — не только свои стихи, а вообще поэзия.

Думаю, что одной из черт настоящего таланта было и есть стремление помочь другим талантам, может быть даже не близким ему. Николай Николаевич постоянно был обеспокоен судьбами поэзии, судьбами молодых.

Я получил от него подарок — двухтомник стихотворений и поэм, выпущенных в 1959 году. Н. Асеев, не раз возвращающийся к своим стихам и дорожащий каждой строкой, поправил некоторые строки. Так, стихотворение «Заявка» в заключительной строфе звучало:

Земного притяжения уздою
прикручены к полям, к лесам, к станкам,—
таинственную встречу со звездою
мы представляем только по стихам.

Другое стихотворение теперь кончалось так:

Но если беседуют звезды со мною,
то, значит, я что-нибудь стою
с моей небольшою, земною
погаснувшею звездою!

Стихотворение «Встреча» начиналось со строфы:

В несуществующее время,
в отсутствующее пространство,
летим, вдвоем с тобой дружа,
без всяких орденов и премий,
без ненавистей и пристрастий,
вселенской цели сторожа.

В этом же стихотворении последняя строфа зазвучала по-иному, а кроме того, появилась еще одна:

Пусть, правду по архивам пряча,
хотят, чтоб выглядел иначе,
все измеренья изменя;
тех, с кем душа твоя дружила,
не может никакая сила
переменить, искореня!..

Мы ж — как картофель для посадки,—
но только на вселенской грядке —
разрезанные на куски,—
какие б ни сырели будни,
какие б ни болтали блудни,—
опять даем свои ростки!

Об этих стихах зашел разговор. Я сказал, что последняя строфа мне совсем не нравится, а поправки в первых — вполне закономерны. Николай Николаевич сказал, что все эти стихи для него сейчас ничего не значат и его не волнуют.

Разговор о своих стихах Николай Николаевич перевел на разговор о стихах молодого поэта. Сказал, что поэт этот ему, Асееву, «ни сват, ни брат», но он сват и брат нашему времени в его поэтической ипостаси.

Мне предложили сделать для «Библиотеки поэта» сборник, посвященный русским футуристам. Я пересмотрел десятки брошюр, статей, воспоминаний. Решил спросить Асеева, как быть, что делать. Он ответил открыткой (от 3 марта 1961 года): «Не знаю, что Вам по-

советовать в отношении выбора из футуристов; это очень трудно решить. Я бы не взялся за такое щекотливое предприятие. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с этим. Стоило бы издать лишь Хлебникова, Крученых, Каменского, Гуро».

Надписав мне свою книгу «Зачем и кому нужна поэзия?», он в самой надписи счел необходимым сообщить: «Не сердитесь за молчание; писать хочется только очень длинно, а коротко разучился. Пишу новую книгу: «Где и когда пропала поэзия». Вот чем я занят по уши».

Здесь же Николай Николаевич приводил строки, написанные им кому-то из поэтов:

Огонь, пылавший над костром,
Упал, погас...
Неповоротлив, хмур и хром —
Устал Пегас!
Но дайте только шевельнуть
Ему крылом —
И он помчится снова в путь
Вдаль, напролом!

Дальше Николай Николаевич ответил на мой вопрос — кто эти литературные вельможи, о которых он пишет в своей книге. Он сообщил: «Кто эти литвельможи? Они общеизвестны. От Халатова, снявшего портрет Маяковского в журнале «Печать и Революция» в 1930 году, до Ф. Гладкова, снявшего портрет Маяковского со стены в Литинституте в 1938. Да мало ли их! Всех не перечислишь».

И снова вспомнил о Сосноре. Потом Николай Николаевич победил. Книга Сосноры была издана.

Ее встретили хорошо. Даже очень хорошо. Но задним числом могу сказать: если бы «на пробивание» ее ушло меньше сил и больше бы осталось для работы с поэтом — сборник мог быть лучше.

Я не без задней мысли рассказал о борьбе за издание книги молодого поэта. Наверное, так и должен поступать настоящий писатель...

Над рукописью

Я работал над книгой об Асееве. Решил послать часть рукописи самому Николаю Николаевичу. Ведь, в конце концов, вопрос о его месте в русской литературе был решен и до меня, а возможные ошибки, путаницу и т. п. он обязательно обнаружит.

Вскоре я получил рукопись, кое-где тронутую карандашом.

Если бы я не знал почерка Николая Николаевича, я бы вообще подумал, что читал мою рукопись не он, а какой-то идеальный редактор — умный и ненавязчивый, доброжелательный, строгий, уважающий чужой труд и не стремящийся вспахать собственным карандашом целину чужого сочинения.

Несколько вопросительных знаков стояло в тех случаях, когда я пытался воссоздать быт дореволюционного провинциального города. Затем большой вопросительный знак указывал на неточность определений — я чисто стилистически разделил народное творчество и язык. Н. Асеев обратил на это мое внимание. Всяческие повторения, тяжелые «критические фразы» — все это отмечалось тем же знаком. Некоторые фразы были усилены.

Слово «футуристы» в большинстве случаев было заменено словом «будетляне». В одном месте Н. Асеев во фразе: «они откровенно декларировали свой интерес и внимание к фольклору», заменил: «интерес к практике фольклора».

В нескольких местах отмечены повторения. В абзац, где говорилось о господстве академизма и декадентства, Н. Асеев вписал «и натурализма».

Я писал об Асееве и Маяковском, как о пасынках чужого мира и чужого города. Поэт усилил. Получилось: «пасынкам чужого буржуазного мира и чужого капиталистического города».

На полях было написано еще: «поиск мировоззрения».

Дальше разговор шел на тему о соловьях — я переходил к послереволюционному творчеству поэтов. Н. Асеев написал: «Да, не соловьи были нужны разоренной гражданской войной и интервенцией России. Нужно было восстановить железную, завтрашнюю мощь; отсюда и стихи о стальном соловье, а не об отказе этой ненужной в то время темы в поэзии! И никому это не понятно».

В том месте, где я писал, что «Лирическое отступление» — продолжение поэмы Маяковского «Про это», Н. Асеев вполне справедливо написал: «чепуха!!»

Иногда Николай Николаевич на полях делал решительные экскурсы в сторону. Например, в одном месте написал: «сей («сей край») — от глагола «сеять».

Некоторые замечания были более чем самокритичны. Я писал, что поэт в начале своего пути не поднимался до позиции Маяковского — Николай Николаевич подчеркнул «до революционных позиций Маяковского».

Отступление — непомерно большое — о творчестве Е. Чаренца и П. Тычины сопроводил словами: «Все это должно войти в книгу о П. Тычине. Асеев ни при чем... А где мои переводы Тычины?»

Следует сказать, что Николай Николаевич был здесь совершенно прав. Увлекшись мыслью о связи Маяковского и всех поэтов новаторского направления с фольклором, я отошел от темы книжки. Кстати сказать, Н. Асеев великолепно знал творчество П. Тычины, любил Павла Григорьевича и умел великолепно подражать его манере тихо, почти неслышно читать свои мудрые стихи.

Хочу полностью привести письмо, приложенное к первой части рукописи. Дату мне восстановить трудно — ее нет ни на письме, ни на конверте. Думаю, что это была ранняя весна 1962 года. «Прочел внимательно присланную Вами часть статьи обо мне. Кроме благодарности за то, что Вы трудитесь надо мной, хотел бы сообщить Вам мои впечатления от чтения. Мне кажется, что вступление к моей личности, начиная с детства, может быть, и в обычае таких работ-биографий, но именно в отношении меня вряд ли заслуживает длительного описания. Поэтому я начал бы книгу прямо со слов «Тихий Курск не был уж таким безропотным и молчаливым городом. Даже во Льгове, его уезде, ощущалось, что затишье после войны с Японией было временное...» Вот так я бы начал эту книгу, если бы спросили меня, с чего начинать? Но Вы, конечно, вольны и не послушаться, считая важным привести мои высказывания о детстве, добавляя к ним свое описание Курска того времени. Мне думается, что это для начала мало убедительно. Ведь читателю хотелось бы, наверное, знать подробности моей биографии, раз он возьмет такую книгу в руки. А не биографии Курска и его окрестностей. Кроме этого, я не нашел в рукописи никаких отягчающих ее преступлений. Мелкие ошибки, сделанные с добрыми намерениями, я отметил в тексте, как, например, о знакомстве моем с изданиями лубков Ровенского, которые я увидал уже не в детстве, а в юношестве... ...Точно так же должно сделать поправку на то место, где Вы утверждаете: «мы далеки от этих выкриков», то есть от призывов футуристов «открыть музей народных вывесок и лубков» или «собирать народные игрушки старинные». Эти выкрики, по Вашему выражению, стали впоследствии вниманием к народному творчеству, чем и Вы, Дмитрий Миронович, сами грешите. Нет, эти выкрики не только вызваны были отсутствием путей к оживлению искусства, погрязшего в декадентстве и академиз-

ме. А не проще ли было бы найти и в их «еретическом» понимании искусства кое-что от любви к нему, к его необходимому изменению? В связи с этим не стоит навязывать им приверженность к заговорам и заклинаниям, бытовавшим в народе. Ведь это только у Хлебникова использованы заговоры из книги Сахарова! А у Хлебникова не только эти осколки древнего фольклора, но и персидские и туркменские мотивы творческих народных преданий. Недаром первое переложение «Лейли и Меджнуна» было сделано Хлебниковым. Да и многое другое сделано им, еще не дошедшее до занятого своей сегодняшней историей народа. И уж совсем неправильно Хлебникова включать в футуристическую семью. Он-то, скорее, архаист, если уж надо наклеивать ярлыки. Вообще у Вас понятие футуризма слишком обобщено, хотя их разновидностей в то время было немало. Недаром сами наши «будетляне» отказывались от смешения их с итальянскими и французскими футуристами... Вот те немногочисленные замечания, которыми я хотел бы помочь Вам в Вашей работе. Все остальное очень убедительно!»

Было бы неверно на основании этих замечаний упрощать вопрос об отношении Асеева к футуризму. Почти при каждой встрече мы возвращались в разговорах к началу пути Николая Николаевича. При одном таком разговоре присутствовал А. Е. Крученых (это было 30 октября 1962 года). По просьбе Николая Николаевича старый поэт — слово «старый» здесь не очень применимо, Алексей Елисеевич казался мне человеком без возраста — прочитал свои стихи. В его исполнении они приобретали смысл, который совершенно ускользал при чтении глазами. Читал он, приплясывая, притоптывая... Что-то было сказано о знаменитых «дыр, бур, шил», которые какой-то историк литературы попытался перевести на французский язык.

Между Асеевым и Крученых произошел следующий разговор:

— А я всегда думал: «дыр, бур, шир»,— сказал Николай Николаевич.

— Нет, надо «шил».

— Зачем ты это написал?

— Чтобы дать новые фонемы...

— Как говорит! Как говорит! Вот Пушкин писал, Баратынский...

— Это не пушкинский стих. Это новый звукоряд. Есть несколько звукорядов...

— А я сам найду, если у меня есть слух! А если нет, то ничего не поможет...

— До сих пор этот залп не забыли.

Я, конечно, понимаю, что вся эта инсценировка была затеяна Николаем Николаевичем из педагогических соображений, ну, скажем, для того, чтобы ввести меня в споры тех лет, когда возникли первые эксперименты русских будетлян. Для этого же Николай Николаевич расспрашивал Крученых о фактах его биографии, которые наверняка знал и раньше.

Но — история историей, а отношение современного поэта Николая Асеева к группировкам его юности было недвусмысленным. Вот что писал он в письме от 28 марта 1963 года: «Футуристом я никогда не был, как не был и символистом или акмеистом, то есть не принадлежал ни к одной из существовавших тогда марок. Мы, молодые люди начала века, собирались в какие-то кружки, студенческие и литературные, но не в официальные места, а в наших бедных комнатах и дешевых столовых, чтобы спорить до рассвета о месте поэта в обществе. Это не были последователи какой-либо одной литературной школы, хотя многие были пристрастны к творчеству то ли Блока, то ли Белого, то ли Брюсова, как известно не совсем ладивших между собою. Помните стихи Блока о поэтах? «Там жили поэты, и каждый

встречал другого надменной улыбкой». У нас же, у молодежи, все было еще впереди, все в радужных ожиданиях будущего. Мы на свои скудные средства печатали какие-то сборники «Лирень», «Леторей», «Зор» и другие. Наконец, вышла моя «Оксана». Это уже значительно позже, но суть-то была в том, что мы ни в футуристах, ни в символистах не числились. Это уж позже критики стали валить в одну кучу и Хлебникова, и Игоря Северянина, и Елену Гуро, и Вадима Шершеневича. Для них не было различия ни в цвете, ни в звуке искусства; им важно было занумеровать то или иное явление в поэзии, чтобы легче было оперировать с готовыми понятиями...»

Дальше Николай Николаевич писал о том, что больше всего меня волновало,— о связи с народным творчеством: «Ведь то, что пошло ходить под маркой поэтических экспериментов, было народным словом, в его вовсе не упрощенном понимании. Взять к примеру те приговорки, которые рассчитаны были на выработку чистоты произношения. «На дворе трава, на траве дрова», или «Шел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипит укроп; как без Прокопа кипел укроп, так и при Прокопе кипит укроп». Это не бессмысленный подбор слов, а расчетливое их соединение для того, чтобы человек научился владеть своим артикуляционным аппаратом с детства, как бы играя и стараясь без оговорки произнести трудную загадку... Уроки народа обращения с речью руководили мной с самой юности. Вспомнить хотя бы мои молодые стихи «Когда земное склонит лень», в которых перекликаются слова — лень — лань — лунь — линь; стон, стан, пан, пень, синь — сон, Дон — день. Но эта перекличка звуков не бессмысленна; из них создается описание летней ночи на юге России. И описание не плохое. Как же здесь можно говорить о каком-то футуризме, не приписывая его самому народу, его пониманию звуков родной речи и их мастерскому применe-

нию к смысловому содержанию стиха?!.. К примеру, мои «простоволосые ивы» и «чайки, кричащие чьи вы?» сродни хотя бы старой украинской «Чайке», которая вывела деток при дороге и срезали жнецы ее гнездо. «Киги! Киги!» — кричит чайка, потерявшая деток. «Чьи вы? Чьи вы?» — спрашивает моя чайка, сродни той запорожской. Но как доказать не почувствовавшим это людям, приписывающим все не встречавшееся раньше или встречавшееся, но позабытое наглухо — экспериментам и баловству со словом. Такое баловство упрочено народными творениями, и жалко, что оно ушло в прошлое, не сыграв полностью своей роли. Многое можно было бы привести в пример, как продолжение народных речевых особенностей в поэзии русской...»

Каждый разговор с Асеевым, вероятно, заслуживал бы отдельной главы. Но о чем бы ни говорили, передо мной находился не простой, умный и талантливый человек, но и человек с большой душой, великолепно понимающий и своего собеседника и тысячи вещей, до которых доходишь лишь после длительных раздумий.

Асеев вспоминал:

— Мы с Маяковским были уличными мальчишками. Это нас с ним и сблизило... Он был беден и видел только улицу. Отсюда «три листика», отсюда «ноктюрн на флейте водосточных труб». Он рассказывал мне, как мерз, переехав в Москву... Улица. Весь инвентарь Маяковского — уличный. Инвентарь Пастернака — комнатный.

И внезапно:

— Ну что вы нос повесили? Хотите, я вам подарю мою книжку? Вот эту.

Я беру книгу и машинально начинаю рисовать на белой обложке моего собеседника. Постепенно перехожу на шарж. Николай Николаевич продолжает рассказ,

но время от времени посматривает на меня. Потом говорит:

— Дайте-ка сюда. Так-так. У Кукрыниксов, пожалуй, получалось лучше. Молдавский — Принц Датский. Так я вам и надпишу...

Как-то я пришел к Николаю Николаевичу с фотоаппаратом. Он взбунтовался. Полусерьезно, полушутливо говорил, что — суеверен, что терпеть не может механическое искусство и т. п. Разговор перешел на искусство подражательное, к вопросу о натурализме и реализме и удалился по главному руслу всех наших разговоров: поэзия, фольклор, новаторство.

Последний разговор с Николаем Николаевичем был по междугородному телефону. Я проговорил с ним почти час — по прямому проводу из одной редакции.

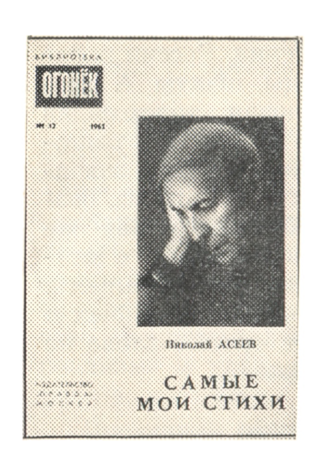
Мы говорили о моей рукописи, о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве и об его работе, посвященной образу человека в древнерусской литературе. Собственно, говорил Николай Николаевич — я слушал и отвечал на вопросы. Николай Николаевич сказал, что закончил статью о «Слове о полку Игореве» и задумывается над «Вием». Спросил, записывал ли я вариант этой сказки. Потом речь шла о краях, где я был как собиратель фольклора. Потом Николай Николаевич сказал:

— Мне трудно говорить. До свидания. Работайте.

. . . .

В уже цитировавшемся письме от 28 марта 1963 года Николай Николаевич писал: «Зачем плодить сотни раз пересказанное об урбанизме и футуризме, когда урбанизм был понятием, близким к индустриальным мечтам о городах будущего, когда стальной соловей противупоставлялся деревенской избяной Руси, где соловьями заслушивались только те, у кого было время гулять по летним ночам, тогда, в те именно времена, город был

на первом плане поэтического мышления. России после разрухи нужны были машины, заводы, шахты. А вместо этого воспевалась избяная, кондовая, толстозадая бабища Россия. Тогда и только тогда нужен был разговор не о библейски «железном Мессии», а о реве заводских труб и грохоте станков будущего. А тишина, безмашинье, безручье — было врагами будущего. Как же это не понять и смешивать «железных Мессий» с мечтой о стальном соловье... Ну, футурист, ну, урбанист... Нет. Я не был ни деревенским, ни городским. Я был и остался русским, к которому никакое чуждое слово не пристанет, повторяй его хоть тысячу раз».



АЛ. ДЫМШИЦ

ВЕСЬ В МЫСЛЯХ О ПОЭЗИИ

Попробую рассказать о Николае Николаевиче Асееве на основании записей, которые я делал сразу же после разговоров с ним. В моих заметках, вписанных в дневники, отразились наши редкие встречи и наши частые, очень частые телефонные разговоры, длившиеся иногда не менее часа.

Что я записывал?

Прежде всего — сказанное Асеевым. Иногда впечатления от Асеева.

Вот 20 марта 1960 года, побывав у Николая Николаевича, я записал: «Асеев великолепен, когда говорит о стихах. Его стихия — стихия стиха». А вот и другая запись — от 22 ноября 1962 года, после часового утреннего разговора по телефону: «Чудесный Николай Николаевич... Ему и говорить трудно, кашель его мучает, дышать тяжко, болезнь хватает за горло... А он весь в поэзии, весь в мыслях о ней!»

Да, в последние годы жизни Николай Асеев был

очень болен. Только за городом, летом, выходил он за пределы дома, а в городе не выходил. Нередко телефонный разговор начинался так:

— Ну вот и погулял. Теперь можно и поговорить.

«Погулял» — это значило: Николая Николаевича укутывали в одеяло, в комнате, где он жил, раскрывали окно, чтобы он мог продышаться.

О чем говорил Асеев?

Да главным образом о том, что занимало его превыше всего,— о поэзии, которая для него неотрывна от жизни, борьбы, созидания.

Работая в редакциях — в газете, потом в журнале,— я не раз просил у Асеева стихи. И он мне не отказывал. Иногда говорил так:

— Вы вот напечатайте молодого Соснору. А потом уж и меня.

Или еще так:

— Я вам пришлю стихотворение, которое в одной редакции не взяли. Напечатаете — молодец будете.

Бывало, что Асеев читал по телефону новые стихи. Читал увлеченно, но необыкновенно просто, отчетливо выделяя смысловую линию, оттеняя все грани и созвучия слов. Как-то раз, когда я его навестил (24 ноября 1962 года), он прочитал цикл эпиграмм, острых и неожиданно злых.

Но сердитым Асеев бывал редко. И поэтому я предпочту рассказывать о том, как он относился к поэтам, которых любил, которые были спутниками его души. И еще о том, как он отзывался о молодых — о поэтах, внушавших ему интерес и надежды.

Кажется, у нас не было разговора, в котором не заходила бы речь о Маяковском. Асеев много писал о нем — в поэме, в статьях, в воспоминаниях. И все-таки в разговорах мелькали такие штрихи и детали, о которых он не написал, не успел написать.

Николай Николаевич, видимо, хотел специально по-

работать над поэмой Маяковского «Владимир Ильич Ленин», заняться ею пристально, почти так, как он некогда поработал над поэмой «Про это». О «Ленине» Маяковского он говорил часто. Он считал, что Маяковский открыл в поэзии ленинскую тему, дал ключ к ее подлинному постижению. Но он считал также, что в работе над этой великой темой поэты должны идти дальше, опираясь на принципы Маяковского, но не принимая его решения за единственные.

— У Маяковского,— говорил Асеев,— Ленин взят в важнейшем, но в одном плане: Ленин и рабочий класс. Но Ленин — именно как вождь рабочего класса — это учитель всего человечества. Он мастер революции, но это значит, что он глава мирового духовного переворота.

Асеев видел задачу поэтов в том, чтобы, идя за Маяковским, войти в интеллектуальный мир Ленина, показать гений Ленина-мыслителя.

В долгом-долгом разговоре, который был у нас 17 августа 1962 года, Николай Николаевич изложил замысел и отчасти план большой статьи-исследования (в чем-то близкого по мысли известной статье Маяковского «Расширение словесной базы»), посвященного поэтическому перевороту, который совершили в начале революционной эпохи Маяковский и его друзья в сфере отношений между поэзией и ее слушателем.

— Мы,— сказал Асеев,— вышли к большим аудиториям — стих стал говорным, декламационным, стал звучать для сотен и тысяч, дружески, интимно-разговорно для каждого слушателя в отдельности. Мы — Маяковский, Хлебников, Третьяков, Каменский, ваш покорный слуга и другие — отличались от пролеткультовцев, космистов и тому подобных ораторов в поэзии тем, что умели доходить до всех и до каждого, а те до всех, но не до каждого и поэтому практически ни до кого. Нельзя говорить с массой, не видя в ней людей, человека. Это, кстати, и Есенин понимал — в те годы он и оратор и

лирик, он для всех и для каждого. И еще раньше Блок — в «Двенадцати», в «Скифах».

Когда Асеев говорил о Маяковском, я слышал в его голосе нежность. Когда он заговаривал о Пастернаке, которого любил, который был близким другом его юности, в его голосе звучала боль. Асеев не переставал страдать из-за того, что Пастернак отошел от революционной поэзии. Ему хотелось (об этом он говорил мне не раз) написать воспоминания о том, как встретились они трое — Маяковский, Пастернак, Асеев, все очень молодые, и как в этой ранней молодости уже наметились различия путей, которыми потом пошли Маяковский с Асеевым и Пастернак.

— Мы с Маяковским,— говорил Асеев (это записано у меня дважды — 17 августа и 24 ноября 1962 года),— были плебеями, мы были, ну, если хотите, уличными, выросли на улице, с простыми ребятами, мальчишками, такими же, как мы сами. И с Маяковским я сошелся сразу. Сразу и во всем мы поняли друг друга как люди одной жизни. А Пастернак вышел из академической среды — сын знаменитого художника, воспитанник западной мысли, знаток языков. Мы одно время жили с ним вместе, очень дружили — и во время «Центрифуги» — нашего объединения молодых, и позднее; мы нередко друг другу удивлялись, но были разных корней. Пастернак смолоду был устремлен к философии довольно смутной и туманной. Но революция внесла свой свет и в его мысли. Тогда он почувствовал в Ленине ту поэзию интеллекта, о которой литераторам надо еще написать широко и полно. У Пастернака на сей счет есть намек, очень содержательный: «Он управлял теченьем мысли и только потому — страной».

Хлебников — вот еще одна большая любовь Асеева, любовь, пронесенная через всю жизнь. Асеев, как никто, знал, чувствовал, понимал Хлебникова. Он умел выделять его сильные стороны. В его чтении то, что

казалось только заумью, становилось умным, невнятное делалось понятным. Жаль, что Асеев так, видимо, и не написал работу, к которой готовился,— о том, как читать Хлебникова, как его издавать.

Вот лишь один штрих, свидетельствующий о том, как тонко чувствовал и знал Асеев поэзию Хлебникова.

— Возьмите,— говорил он (20 марта 1960 года),— поэму «Уструг Разина». Она напечатана неверно — в ней слиты воедино три этюда, из задуманного лирического цикла сделана поэма, обессмысленная таким слиянием разных стихов. А в замысле «Уструг Разина» жанрово близок такому лирическому циклу Блока, как «На поле Куликовом». Это лирический цикл, тяготеющий к поэме.

К этому наблюдению Николай Николаевич вернулся еще раз. В моей записи от 24 ноября 1962 года помечено: «Асеев считает, что «поэма» Хлебникова «Уструг Разина» — это три стихотворения: «Где море бьется диким неуком...», «По затону трех покойников...», «И плахи медленные взмахи...».

Асеев любил Хлебникова, умел находить в нем сильные строки, богатые, порой скрытые для неискушенного взгляда смыслы. Тем более презирал он «хлебниковщину», подражание Хлебникову ради пустой моды, ради формалистического кокетства.

Часто Николай Николаевич говорил о классике. Определялась традиция: Державин — Пушкин — Тютчев — Некрасов — Аполлон Григорьев — Блок.

Часто говорил Асеев и о любимых прозаиках, которыми дорожил как поэтами в прозе.

— Конечно, Гоголь. Конечно, Достоевский. В нем,— говорил Николай Николаевич,— жила душа поэта, в нем — все поэзия, порыв, проникновенность.

И вот неожиданное имя: Брет-Гарт. Асеев любил этого писателя, воспринимал его как поэта.

К современникам Николай Николаевич был добр, от-

носился к ним заботливо, если они того заслуживали. Не мог он забыть обиду, нанесенную в тридцатых годах Светлову, которого печатно изругали «холодным сапожником». В ней он видел «отрыжку» рапповских нравов, того свирепого проработничества, которое он ненавидел всей душой.

— Теперь,— говорил он,— такая грубость невозможна, но надо зорко смотреть за тем, чтобы кто-то не пожелал повторить ее.

Он был всегда внимателен к друзьям-поэтам, тепло говорил о Сергее Васильеве (звал его обычно Серёгой), о Льве Озерове... Из критиков поэзии ценил Д. Молдавского, А. Урбана, С. Лесневского... Радовался успехам поэтов. И особенно чутко, внимательно и нежно относился к поэтической молодежи.

В последние годы у Асеева был среди молодых свой воспитанник — Виктор Соснора. Николай Николаевич ввел его в литературу, пестовал его неутомимо, напутствовал своими предисловиями и первую его публикацию, и первую его книгу. Однажды я написал Асееву, что В. Соснору надо ориентировать на важные гражданственные темы. Николай Николаевич тотчас же позвонил по телефону и сказал:

— Да, верно. Но звать надо к большим и кровно выстраданным темам, а не к темам внешним и плакатным.

В этом отношении мы с ним не разошлись.

В последнюю нашу встречу (24 ноября 1962 года) Асеев тепло говорил о молодом поэте Николае Анциферове:

— Интересный поэт, за ним — жизнь. Я читал и напечатанные, и то, что еще не печатают. Почитайте обязательно. Есть там такие стихи о «Нахаловке» — неотразимо точные. Он знает рабочую окраину. Очень стоящий парень.

Не всегда понимали мы друг друга, когда заходила речь об «американских» стихах Андрея Вознесенского.

Асеев усматривал в них традиции Маяковского, я же возражал, считая, что эти традиции должны сказаться прежде всего в общественной позиции поэта, а в «американском» его цикле я не видел маяковской определенности и четкости. Асеев сердился на меня, но соглашался, что в моих аргументах есть своя логика. Он надеялся на Вознесенского, рассчитывал на его дальнейший рост.

Но вот в газетах появились некоторые новые стихи Андрея Вознесенского, далеко не лучшие, и Асеев огорчился. В записи от 22 ноября 1962 года нахожу, между прочим, и следующее:

«Вознесенский пишет и так и сяк, на разный вкус». Асеев опасался, как бы поэт не утратил себя — личность цельную и единую.

10 марта 1963 года Асеев долго разговаривал со мной по телефону. Он снова огорчался тем, что Вознесенский «снижается».

Этот добрый и душевно щедрый человек, влюбленный в людей и в поэзию, умел быть и строгим, суровым, решительным.

Умел он быть и нежным, и грустным, и веселым. Умел пошутить и подшутить. Его последний звонок по телефону незадолго до последней, смертельной атаки болезни начался с розыгрыша. Голос в трубке звучал молодо, весело, дискантово:

— Что же это вы, сударь, забываете своих юных друзей?

— Кто, кто говорит? — спросил я.

— Ваш ученик, сударь. Поэт из Литературного института. Некий Асеев, Николай Николаевич...

Он был из неподдающихся, несдающихся, твердых.

Утром 16 июля 1963 года стало известно, что скончался Николай Асеев. Уже несколько дней он был при смерти. «Это не неожиданность,— записал я.— Но это очень, очень больно...»



Н. КОРДО

ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА С Н. АСЕЕВЫМ 11/II 1962 Г.

Н. К.: Николай Николаевич! С вами говорит один из московских детских поэтов.

Н. А.: Детских? А что вам от меня нужно?

Н. К.: Мне хотелось бы встретиться с вами.

Н. А.: Уж не считаете ли вы, что я впал в детство и являюсь теперь вашим читателем?

Н. К.: Нет, я этого не считаю. Мне хотелось бы посоветоваться с вами.

Н. А.: Встретиться! Во-первых, я болен и лежу в постели. Мне, правда, твердят: «Вы молоды духом». Духом-то я, может быть, и молод, да вот... Во-вторых, чтобы разговаривать с вами, я должен быть заинтересован. Сумейте заинтересовать меня, а уж тогда будем разговаривать.

Н. К.: Может быть, вам прочесть стихи?

Н. А.: Читайте!

Н. К.: («кентавры».)

Н. А.: Это очень мило, но ведь это — шутка. Вы ведь, вероятно, рассматриваете свои стихи для детей как поэтическую пробежку перед чем-то другим? Вы, наверное, хотите войти в литературу через детский вход?

Н. К.: Нет, я хочу писать только для детей. Писать для взрослых не собираюсь.

Н. А.: Ну и много у вас стихов?

Н. К.: Довольно много.

Н. А.: Что значит «довольно много»? Довольно в том смысле, что больше можно не писать? Сколько их — 20 тысяч, 12 тысяч или два стихотворения?

Н. К.: Несколько десятков.

Н. А.: Кстати, почему вы так невнятно читаете? Вот, например, слово «кавалерия» я не расслышал и вынужден был переспросить. Поэт должен уметь читать свои стихи, обладать дикцией, владеть голосом. Стихи живут в авторском чтении. А напечатанное на бумаге — это уже как бы фотография подлинника.

Н. К.: Может быть, прочесть еще что-нибудь?

Н. А.: Читайте!

Н. К.: («блины».)

Н. А.: Хорошие стихи! Вот, например, «отрежь половинку — получится месяц» — это конкретно, зримо. А кто говорит, что стихи плохие? Какая-нибудь тетя Мотя?

Н. К.: Многим мои стихи нравятся, и их охотно печатают. У меня есть, например, хорошие отзывы Сельвинского, Пастернака, Маршака. Но многие меня резко критикуют. Говорят, например, что мои стихи не имеют ярко выраженного действия, сюжета и это, мол, очень плохо. В конце концов я запутался, перестал понимать, что такое хорошо и что такое плохо.

Н. А.: Да кто все это говорит?

Н. К.: Это говорят редактора. Я хотел бы прочесть еще одно стихотворение.

Н. А.: Читайте!

Н. К.: («консервы».)

Н. А.: Хорошие стихи! У вас ведь там много журналов: «Мурзилка», «Пионер» и др. Надо уметь пробиваться. Если ваши стихи хороши, то вы должны чувствовать себя на коне. У вас издается какая-нибудь книжка?

Н. К.: Должна быть выпущена книга в издательстве «Детский мир», но ее издание уже второй раз откладывается.

Н. А.: Как ваша фамилия?

Н. К.: Я рассчитывал встретиться с вами и при встрече рассказать все о себе и назвать свою фамилию.

Н. А.: Но все-таки почему вы скрываете свою фамилию?

Н. К.: Главным образом потому, что опасаюсь, что вы ругнете меня в газете. Я читал вашу статью, в которой вы резко отзываетесь об осаждающих вас молодых поэтах и чуть ли не посылаете их к черту.

Н. А.: Да ну что вы! В статье речь шла совсем о другом. Во-первых, я никого не посылал к черту. А во-вторых, я имел в виду тех, кто присылает всякий вздор. Выхватывают, например, отдельные фразы из Маяковского, критикуют их, оспаривают правомерность некоторых его метафор.

Н. К.: Моя фамилия — Кордо.

Н. А. (Переспрашивает фамилию, просит произнести по буквам.: Ну так вот — вам надо пробиваться. У меня, например, все отношения с литературной средой определились. Делают понемногу из меня икону. Кое-что печатают, а кое-чего не печатают. Вот я с вами проговорил с полчаса. Считайте, что я дал вам аудиенцию по телефону. Считайте, что я как патриарх благословляю вас.

Н. К.: Большое спасибо! Но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов.

Н. А.: Пожалуйста.

Н. К.: Читаете ли вы детских поэтов? Кто из детских поэтов вам нравится.

Н. А.: Кого вы имеете в виду — Барто?

Н. К.: Не только Барто.

Н. А.: Михалкова?

Н. К.: Нет, есть еще и новые имена. Например, Аким, Коринец.

Н. А.: Коринца не знаю.

Н. К.: Есть Борис Заходер.

Н. А.: Когда Заходер? Куда Заходер? Смешная фамилия. Ну да это я в шутку. А что он написал?

Н. К.: У него есть, например, сборник стихов «Никто и другие».

Н. А. (Говорит о том, что ему понравилась книга одного из ленинградских детских поэтов, рассказывает содержание этой книги.): Наша культура еще только складывается. Дворяне накапливали свою культуру веками, и она, откристаллизовавшись, в конце концов смогла дать такой алмаз, каким явился Пушкин (читает из Пушкина). Надо уметь читать Пушкина. Я недавно прочел его «Буря мглою небо кроет», и у меня сердце сжалось — как ему было одиноко! Очень интересны строки:

То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит...

На слова «соломой зашумит» обычно не обращают внимания, а ведь в этих словах заключена деталь, характеризующая тогдашний быт поместного дворянства. Дом, оказывается, имел соломенную кровлю. Представьте себе это крытое соломой жилье без электричества, няня готовит ужин, и чад распространяется по всему дому... Как это не похоже на сегодняшние квартиры с современным оборудованием, в которых живут многие из нас. (Далее Н. А. говорит о буржуазном влиянии на русскую культуру в начале нынешнего века, о модерне

в архитектуре, о месте в истории отечественной культуры так называемых русских меценатов — Морозова, Рябушинского...) После революции все эти гиппиусы сбежали. Да и хорошо, что сбежали: все равно от них толку было мало. Остался лишь Блок, чье творчество происходило от несколько иной линии дворянской культуры. Блок написал «Двенадцать». Эта поэма по своей значимости перекрыла все написанное им ранее, в том числе проникнутые мистическими настроениями «Стихи о Прекрасной Даме», которые он создал, находясь под влиянием символистов. (Н. А. читает строфы из «Двенадцати», говорит об интонациях, которыми следует при чтении наделять речь героев поэмы. Далее Н. А. цитирует одно из стихотворений Блока, кажется, «В черных сучьях дерев обнаженных», после чего читает фрагмент из «Шагов командора»; по мнению Н. А. слова:

...Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина...—

своей звукописью призваны обозначать бой часов.)

Н. К.: Кто вам нравится из современных поэтов?

Н. А.: Никто!

Н. К.: Как никто? Маяковский ведь вам нравится?

Н. А.: Я полагал, что вы имеете в виду здравствующих ныне. Из здравствующих никто не нравится. А вообще из советских поэтов нравятся: Маяковский, Хлебников и Есенин («Черный человек»). (Далее Н. А. говорит о Хлебникове, цитирует его стихи, восхищается сравнением неба с неводом в одном из стихотворений Хлебникова. Небо — невод, люди — рыбы, попавшие в него. А сверху смотрят боги. Н. А. дает свою интерпретацию словам о богах, глядящих сверху. Он считает, что речь идет не о древнегреческих или каких-либо других богах, а «о тех богах, которые сейчас хотят удушить людей ядовитым стронцием». Стихи Хлебникова были необычайно глубоки по содержанию, Хлебникову присуща

необыкновенная дальновидность.) Прекрасен Пастернак.

Затем Н. А. спрашивает: «А вы читаете Андрюшу Вознесенского? Мне кажется, что из него выйдет толк. Правда, его в последнее время немножко портят аплодисменты и шумный успех».

Н. К.: А Евтушенко вам нравится?

Н. А.: Евтушенко, по-моему, пошел на карьеру. Первые его вещи были интересными, а сейчас он, по-моему, превращается в послушного исполнителя поручений. Вот, например, он недавно был на Кубе. Кажется, какие цветистые впечатления должен вывезти оттуда человек! И что же написал Евтушенко? Написал о мальчике, который, чистя ему ботинки, думает о Гагарине. Все это претенциозно и фальшиво. Или еще одно его стихотворение о Кубе, в нем он описывает мать, убаюкивающую свое дитя песней. Какой бы вы думали? Нет, вы скажите, какой песней, по-вашему, она убаюкивала ребенка? Колыбельной? Ошибаетесь — она напевала ему «Интернационал». Это надуманно, смешно и просто неумно. «Интернационал» должен поднимать человека, звать его на борьбу, а не убаюкивать.

Н. К.: Как вы относитесь к стихам Рождественского?

Н. А.: С его стихами я мало знаком. Видел недавно в телепередаче. Но ведь этого недостаточно.

Н. К.: Как вы оцениваете творчество Третьякова?

Н. А.: Это был наш активный сотрудник по ЛЕФу. А почему вы о нем спросили?

Н. К.: Я спрашиваю потому, что недавно читал интервью, данные в свое время Маяковским за границей. В них он очень тепло отзывается о Третьякове.

Н. А.: Да, Маяковский, вероятно, его очень хвалил. Третьяков был очень активен, работоспособен, исполнителен. Он был крайне левым, чуть ли не левее Маяковского. Проза у Третьякова интересная. Когда он начал писать прозу, в нем обнаружились наблюдательность и

дарование. У него есть интересные вещи о Китае (он много путешествовал по Китаю).

(Затем Н. А. вновь говорит о Хлебникове и советует ознакомиться с его мыслями о городах будущего (Собрание сочинений, т. 3). Хлебников предвидел многое из того, что сегодня вошло в практику современного градостроительства. Например, он писал о возможном появлении летательного аппарата (типа вертолета) как одного из средств городского транспорта. Хлебников считал, что кровли городских зданий будут плоскими, чтобы служить взлетно-посадочными площадками для воздушного транспорта. Вообще Хлебников считал, что в эстетическом плане город будущего должен формироваться с учетом обозрения сверху.) Ну вот я проговорил с вами еще полчаса. Считайте, что наша первая встреча состоялась. От телефонной трубки у меня уже затекло ухо. Желаю вам успехов. До свидания!



Д. С. ЛИХАЧЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ АСЕЕВЕ [1]

Наше знакомство с Николаем Николаевичем Асеевым началось с переписки, как это часто бывает между книжными людьми. Он прислал мне свою книгу в шестьдесят первом году «Зачем и кому нужна поэзия?» и попросил меня написать мое мнение по поводу одной части этой книги, где он говорит о начале русской поэзии. Он считал, что русская поэзия началась с громких молебствий, молитвословий на воздухе или под гулким куполом храма где-нибудь, в возглашении дьякона и так далее.

С моей точки зрения эта теория была неверна, но тем не менее она меня очень заинтересовала с точки зрения психологии самого Николая Николаевича. Он чувствовал поэзию как громко читаемую, — громко читаемую для большой аудитории, для массовой аудитории. Так же ее чувствовал Маяковский, так чувствовали многие.

[1] Стенограмма телевизионного выступления в фильме «Николай Асеев».

Я думаю, отчасти так же чувствовал Пушкин некоторые из своих стихов. «Полтаву», например, «Медный всадник» и так далее.

Вот в этом отношении его теория была очень интересна с моей точки зрения. Но я ему написал тогда, что нужно не забывать и о фольклоре и что в фольклоре есть тоже громкие такие жанры и, прежде всего, это заклинания, заклинания-заговоры. Некоторые заклинания произносятся шепотом, но они не интересны. Вот те, которые громко произносятся, в них замечательное чувство слова. Я удивляюсь, почему фольклористы сейчас совершенно не занимаются этим жанром. Ну, например, такой заговор: «Встань, встань, встань! Проснись! Пробудись!» Понимаете, даже в этом звуке «а», в этом слове «встань», была такая сила, что больной мог встать; это был какой-то психологический перелом, который мог наступить у больного,— это психотерапия своего рода. И если сейчас много занимаются траволечением, народной медициной, то напрасно забывают о том, что есть и психомедицина в народной медицине, вот этот заговор. И с этой точки зрения заговор тоже очень интересен. И вот почему: в поэзии ведь тоже есть психотерапия. Психотерапия очень важная, когда человек, настраиваясь стихами поэта, своими или чужими, стихами другого поэта, как-то в унисон, способен перенести очень большие и горести, и печали, и разлуку. Пропеть человеку, который находится в горести, веселую песню — это не значит его исцелить, наоборот, нужно в унисон как-то действовать.

Вот. А затем, однажды я был в Москве, у меня был какой-то перерыв в несколько часов, и я съездил к Николаю Николаевичу на Николину гору, где у него была дача, где он жил. Он меня очень гостеприимно принял. Но он оказался совсем другим, чем я его себе представлял. Он мне представлялся вот такой зенитной батареей с громким голосом. Мне казалось, что он дол-

жен встретить меня как-то громоподобно, а он встретил меня очень тихо и, угощая, я сейчас не помню, шоколадом, чаем, я приехал к нему внезапно, без предупреждения, и мы тогда поговорили о роли поэзии и близко с ним сошлись. Потом я уже у него бывал раза два или три, это было незадолго до его смерти, в его квартире на улице Горького. Переписка наша с ним была частично опубликована, некоторые письма куда-то исчезли у меня, но, во всяком случае, она была очень интересной, и поэзия Асеева стала для меня чрезвычайно близкой, потому что для того, чтобы понимать стихи поэта, нужно непременно поэта повидать. Если нельзя в домашних условиях, то нужно повидать его хотя бы в зрительном зале, в театре, там, где он выступает с чтением своих стихов. Я сейчас очень жалею, что упустил ряд возможностей. Я мог послушать Блока, мог послушать Маяковского, но мне все казалось, что я успею, а в жизни никогда не нужно думать, что успеешь, вот и сейчас не во всем успел.

Совсем неожиданным в свиданиях с Николаем Николаевичем было для меня то, что он преимущественно говорил не о своей поэзии, не о своих стихах,— он говорил о стихах молодежи, любил их читать, эти стихи. И по тому, как он читал эти стихи и что он ценил в стихах молодежи, мне становилась понятна поэзия его самого.

Я ленинградец, и я знаю, например, какое значение имел «Медный всадник» для ленинградцев. В периоды наводнений, допустим. Вот эти слова: «Твоей твердыни дым и гром». Когда к Петропавловской крепости подступали волны и казалось, что город осаждает море, что волны входят в город, бьются о стены крепости, и крепость отвечает пальбой. А пальбой крепость отвечала вот почему: тогда радио не было,— это в моем детстве,— я помню — пушки стреляли. На сколько футов поднималась вода, столько раз стреляла пушка. Значит, подни-

мается на 13 футов — 13 раз пушка бьет, на 14 футов — 14 раз. Иногда, если наводнение происходило быстро, то Петропавловская крепость была сплошной канонадой. И звук пушек я слушал в детстве из форточки: открывал форточку и слушал, сколько выстрелов, потому что мы жили в затопляемом районе. Значит, десять, двенадцать раз... Этот звук пушки доносился как-то закрыто, как какие-то шары вылетали: на «у», на «о», на «ы» — «дым» и «гром» — это как-то соответствовало стихам Пушкина. По всей поэме Пушкина «Медный всадник» была какая-то метафора, когда наводнение воспринималось как осада, как сражение, как осада города.

И вот наступил год, когда эта метафора Пушкина «наводнение — осада» превратилась в действительную осаду. Это был 42-й год. Когда немцы подошли — началась стрельба, началась настоящая пальба, и около Института русской литературы, где я работал тогда, так же как я работаю и сейчас, я там больше сорока лет работаю, поставили зенитную батарею. И эта зенитная батарея стала стрелять совсем по-другому, чем тогда стреляла при наводнении пушка. Она стреляла на «а», «ахала» по фашистским самолетам, она «ахала» на «а». И тогда мне вспомнились стихи Асеева, которые также помогали в осаде, как помогали стихи Пушкина при наводнении. Стихи следующие, они обращены к городу, к Ленинграду: «Это имя как гром и как град — Петербург, Петроград, Ленинград». Обратите внимание на этот переход от «у» — Петербург к «а» — Петроград, Ленинград. Это переход от звукового ощущения вот этой пушечной пальбы. Это разница между стрельбой тогда, при осаде города злыми волнами, и осаде фашистскими полчищами, когда батареи уже не на «у» палили и не на «о», а на «а» «ахали» по фашистам.

Эти стихи замечательны тем, что в них очень сконцентрированно дана как бы геральдическая схема развития Ленинграда: «Петербург, Петроград, Ленинград».

Это история города, это символ истории города. Эти стихи в этом отношении замечательны. И в период осады невольно повторялись эти стихи: «это имя как гром и как град», и действительно «град», потому что после выстрелов зенитных орудий, я был тогда на крыше, обычно дежурил, начинали сыпаться осколки снарядов от зенитных орудий. Это был град, они пробивали железную крышу нашего Пушкинского Дома и сыпались, как град. Таким образом, стихи Асеева тоже были каким-то заклинанием, в очень тяжелых обстоятельствах, вот эти строки. Ведь достаточно запомнить из поэта несколько строк, чтобы они имели вот это целительное, исцеляющее свойство, как заговор.

Я писал об этом потом Николаю Николаевичу, и он был очень рад. Писал я об этих стихах еще во время блокады в книжке «Оборона древнерусских городов», и так как у меня тогда не было сил посмотреть, я спутал эти стихи Николая Николаевича со стихами Маяковского, я написал, что это стихи Маяковского. Но он был очень доволен этим, это для него была похвала.

Для него по преимуществу важно было слово, даже независимо от фразы. Он любил в стихах слово в своем исконном значении. Недаром он так любил летопись. Летопись ведь очень лаконична по способу выражения своего. Там все слова без нюансов, впрямую обращены к зрителю. И для Асеева было характерно увлечение древнерусским словом, особенно «Словом о полку Игореве», летописями, затем — Державиным, в котором эта стихия тоже очень сильно дает себя чувствовать. Он любил стихи Радищева, в которых такое вот очень сильное слово отдельное. Может быть, это как раз и важно для чтения стихов на толпу, на народ, на слушателей, чтобы без обману, без нюансов слово было в своем основном, коренном значении. Такая линия в русской поэзии идет от Державина к Пушкину. У Некрасова она

очень сильно сказывается. Конечно, и у Велимира Хлебникова, и у Маяковского. И Асеев идет в этой линии...

Мы мало виделись с Николаем Николаевичем Асеевым, но много переписывались. И может быть, именно потому, что мы мало встречались, письма Н. Н. Асеева ко мне были особенно интересны. Они были отрешены от деловых забот повседневности и целиком посвящены языку, древней русской литературе, истокам русской поэзии. Иногда письма Николая Николаевича просились стать небольшими статьями. И все-таки я удивился, когда вместо ответа на одно из моих писем получил статью. Вместо привычного, иногда шутливого, обращения стояло название: «Родословная речи». Я ждал появления этой статьи в печати, предполагая все же, что она предназначена для широкого читателя. Но оказалось, что это только письмо: революция в эпистолярном жанре.

Родословные русской литературы были главным предметом нашей переписки: родословная русской литературы, родословная русской поэзии, родословная русской музыки и русской речи.

У Николая Николаевича было сильно развитое историческое отношение к окружающей его действительности. Чтобы понять любое явление современной ему культуры, ему надо было прежде всего понять его происхождение и историю. Тогда он чувствовал его конкретность, весомость, смысл.

Но не только это приковывало его внимание к истокам явлений. Истоки были для него самостоятельной культурной ценностью. Образ античного Антея, находившего силы в прикосновении к земле, был для него символом его собственной деятельности. Землей Антея были для него народный язык, фольклор, летописи, «Слово о полку Игореве» и многое другое.

Он удивлялся силе зерна, в котором концентрируется будущее, его плотности, сжатости, скрытым возможностям. Тяжелыми зернами были для него летописи, «Слово о полку Игореве», древние российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым. Он чувствовал себя равновозрастным русской культуре, и детство русской культуры соединялось в его сознании с его собственным детством, когда начинало прорастать его собственное поэтическое отношение к миру — как росток из зерна.

Дорогой Николай Николаевич!

С увлечением читаю Вашу книгу. Она не только интересна по мыслям, но и блестяще написана.

О стихе Киевской Руси — о проверке его на дыхание, на «возглашение» — Вы совершенно правы. Я это заметил на «Слове о п. Игореве». Оно рассчитано на произнесение вслух, а не на чтение. Но элементы устной речи сильны и во всякой иной прозе Киевской Руси. Особенно силен этот устный элемент в богослужебных текстах. От этого тексты эти и приближаются к стихам. Правда, Вы ошибаетесь резко в одном: за редкими исключениями молитвы не сочиняются на Руси (мне известно два случая — у Иллариона и у Владимира Мономаха), а пришли к нам из Болгарии.

Послал Вам свою книжку «Человек в литературе древней Руси». Пожалуйста, полистайте ее.

С искренним уважением к Вам Д. Лихачев.

Вашим упоминанием «Русских летописей» на стр. 24 горжусь.

15. V. 61

Москва, 24 мая, 1961

Драгоценный Дмитрий Сергеевич!

Драгоценный потому, что «дорогой» стало официальным, безразличным обращением, будь ли человек действительно дорог или того требуют обстоятельства. Спасибо Вам за письмо, за книгу, за надпись на книге. Она мне напомнила ту, что князь Мышкин сделал ради доказательства своей любви к почеркам давно вышедшим из обихода: «Игумен Пафнутий руку приложил». Тем более что и в книге Вашей этот игумен упоминается не раз.

Не доказывает ли это, что Достоевский знал и любил древнюю письменность? А есть ли об этом в воспоминаниях о Ф. М.? Но, однако, к делу. Наравне с радостью от получения Вашего доброго письма и замечательной книги, пришлось испытать и досадное ощущение от небрежной работы типографии. У Вас говорится о нарушении текстов переписчиками древних памятников. А что же сказать о ничем не оправдываемом разрушении текста типографскими работниками! Читаю книгу и вдруг со страницы 98 неожиданно перелетаю на страницу 113 из другой главы, ища продолжения чтения разорванного текста. А после 102 стр. вдруг находится 99-я. Кто виноват в такой путанице? Ведь это издание Академии наук СССР. Издание Пушкинского Дома! Что же — с Пушкина спрашивать, что ли? По-настоящему следовало бы требовать нового издания книги с упорядоченным расположением страниц. Вот справедливые претензии читателя, о которых следовало бы сказать редакции и типографскому начальству! Но это, понятно, не уменьшает достоинств как самого текста в его подлинном виде, так и замечательных иллюстраций к нему. О самой книге по существу. Я очень, очень рад, что нашел в Вашем лице ученого высшей квалификации, без зазнайства и

сухости, настоящего друга-ученого в отношении читателя; ученого, владеющего океаном сведений и не тонущего в этом океане собственной мыслью. Увлекательно передающего свои мысли вниманию читателя.

Я не могу ставить себя в ряд с Вашими сведениями по литературе. Но мне самому своим небольшим опытом и собственной интуицией приходилось добираться до выводов, сходных с Вашими, хотя бы трактовку положения литературы 17-го века. Я с восторгом прочел об изменении направления литературы этого времени, направлении целиком совпадающим с демократизацией литературы нашего времени, начавшейся перед революцией в первой чатверти нашего столетия. Когда я думал об изменениях литературных направлений в эти годы, мне всегда верилось, что изменения эти не могли быть безродны и беспрецедентны. Я искал соответствия движения этой волны — от выспреннего символизма к земному стремлению выразить свое время. И вот теперь, прочтя главу 10-ую Вашей книги, я нашел подтверждение моим предчувствиям. Я говорю о замечательных смелых и новых определениях Вами демократической литературы. О том, что: «Для демократической литературы XVII в. характерен конфликт личности со средой», что в ней «развивается особый стиль изображения человека: стиль резко сниженный, нарочито будничный, утверждающий право всякого человека на общественное сочувствие».

Право же, это как будто не о семнадцатом веке написано, а в первой половине нашего столетия, когда Маяковский резко снизил, нарочито буднично заговорил о себе самом, как о человеке характерно восстающем против среды. Не только один Маяковский выражал это восстание, но ни в ком другом так явно и так несхоже ни с кем другим оно не выражено. Ведь именно Маяковского упрекали в «нарочитой вульгарности, грубости нового литературного языка, наполовину раз-

говорного», в «разъедающей иронии ко всему на свете, в том числе и к самому себе». Так и кажется, что Вы это поняли и декларировали научно. Коснусь своей ошибки с утверждением относительно перевода греческих текстов в молитвах. Конечно, Вы правы, но все же мне хочется думать, что например «Достойно», являясь частью литургии, могла быть и в греческом подлиннике, переведенном грамотными сподвижниками князя Киевского для возглашения на славянском языке. А ведь именно «Достойно» — схоже с началом «Слова о полку», построенному явно по единоначалию с «Достойно». Но не буду спорить, не имея доказательств. Желаю Вам всего-всего наилучшейшего. Ваш нелицемерный

Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Я очень огорчен путаницей страниц в книге, которую Вам послал. Это первый случай! — другие экземпляры были хорошие. Хотя в книге и вложен билетик контролера,— все равно кто-то снебрежничал. Я спрашивал в типографии — бывали ли случаи возвращения книги с этими билетиками? Оказывается, нет!

Относительно Пафнутия. Достоевский, видимо, разглядывал какой-то палеографической альбом, где этот Пафнутий (Боровский) был (кстати, недавно был поднят вопрос о сносе Пафн.-Боровского монастыря, но были протесты; вопрос еще не решен). Когда-то я знал — что это за альбом, но сейчас забыл.

«Достойно» — молитва, возникшая сравнительно поздно на Афоне. Это можно узнать. Но общий процесс начала стихотворства все равно, мне кажется, схвачен Вами удачно.

Очень, очень рад, что книга Вам понравилась.

Ваша книга нравится мне не только по содержанию, но и по языку: проза поэта — совсем особая проза (напр. у Бунина).

Будьте здоровы и счастливы. Желаю Вам самого хорошего летнего отдыха.

Искренне Ваш Д. Лихачев

27. V. 61

P. S. Кстати, о современности в исследованиях древнерусской литературы: посылаю Вам мою статью о литературном этикете древней Руси. Частично этикет в изображении человека (по его офиц. положению) затронут мною в книге.

Дорогой Николай Николаевич!

Очень рад был получить от Вас письмо с идеями, которые отчасти сходятся с моими.

Выскажу некоторые еретические исторические идеи. У нас долго абсолютизировали положительное значение централизованного государства. Сейчас от этого историки отходят, но медленно. Если для обороны сильное государство было необходимо, то для народа и народной культуры — это было большое зло. В период раздробленности нельзя было установить жестокой эксплуатации. Плохо у одного князя — перебежит крестьянин к другому. Тому были примеры. А в XVI в. бежать стало некуда — только на «украины», в казаки. И стали народ эксплуатировать как хотели, и обнищал народ, и пошли волнения, восстания, нищета, голод, изнурительные войны. Сколько грамот в новгородской земле в слоях XII—XV вв.! а в слое XVI в., кажется, только одна. Слой же XVI в. неповрежденный. И избы становятся хуже и меньше, и народное творчество беднеет, — труд-

но стало жить, не стало, значит, песен, не стало и грамотности.

Теперь о поэзии. Поэзия не только в стихотворстве. Поэзия и в живописи. В XIV—XV вв.— Андрей Рублев, Феофан Грек, потом Дионисий. Это наша, русская поэзия. Поэтические силы уходили сюда. Я не знаю, любите ли Вы древнерусскую живопись, но я ее очень люблю. В частности, я люблю бывать в Москве в Музее имени Андрея Рублева в б. Андрониковом монастыре. Там удивительные люди, которые замечательно умеют показать красоту древнерусской иконы: Наталия Алексеевна Демина и Ирина Александровна Иванова. Если Вы там еще не бывали, побывайте. Дом. тел. Наталии Алексеевны — Б-8-74-63. Они Вам будут рады необыкновенно. Гостеприимство для них источник радости. Нет для них ничего более радостного, чем привлечь к древнерусской живописи еще кого-нибудь, поделиться «находками» (какая-нибудь трогательная деталь, поэтический образ, верно найденная красота силуэта и пр. и пр.).

Так вот! Живопись в XVI в. тоже идет к упадку. И прежде всего из нее улетает поэзия (не так сказал! надо: «от нее отлетает поэзия»). Мастерство остается, красота красок, линий, появляется даже щегольство изяществом, мелкостью письма, а поэзии уже нет. Потом уходит и мастерство (в XVII в.). И тут дело в усилении государства.

Литература с самого начала была подчинена интересам государства. Расцветает летопись, степенные книги, хронографы, ораторство и пр., но нет поэзии, драмы, литературы в собственном смысле этого слова. «Слово о полку Иг.» и другие прекрасные памятники XI—XIV вв. (Повесть о Петре и Февронии Муромских) — это все феодальная раздробленность, отсутствие сильного полицейского государства. От того и дух чести, рыцарственность, поэтичность. Я очень ценю «Поучение» Владимира Мономаха (великолепный образец этической высоты

его письмо к Олегу), но Мономах — идеолог раздробленности (он строит все не на насилии, а на уговорах, убеждении, обращении к заветам христианства; его идеал — договоренность всех князей между собой, а не их подчинение одному).

Все это я пишу торопясь и комкая, но я думаю, что Вы найдете всему примеры и сами.

Если Вам такую книгу удастся издать,— это будет очень здорово.

Мой летний адрес: Зеленогорск Ленинградской области, Лиственная 16-а, дача 93.

Кстати, балет я люблю, но не думаю, что государство всегда может способствовать его расцвету. Поэзия из него улетает.

Будьте здоровы. Хорошенько отдохните летом. Спасибо Вам за письма — они очень интересны, как и все у Вас.

Искренне Ваш Д. Лихачев

15. VI. 61

Зеленогорск, 29. VI. 61.

Дорогой Николай Николаевич!

«Происхождение стиха от звучащего, не писанного слова». В этом Вы, как мне кажется (я тоже этим вопросом специально не занимался), совершенно правы. Писец явно проверял текст на слух — и летописец, и автор «Слова». Об этом я пишу в статье о подлинности «Слова», которая находится в сборнике «Слово о полку Игореве» — памятник XII в.». Сборник этот сейчас в издательстве АН и выйдет в начале 62 года. Устная стихия в «Слове» постоянно дает себя знать — в обращениях к читателям, как к слушателям, и в самой ритмике речи.

Больше того, пунктационная система древнерусских рукописей ясно предназначена для того, чтобы помогать читателю произносить вслух (точки посередине строки ставятся там, где чтец должен сделать паузу). Об этом писал Л. А. Творогов (у него есть статья «Как был открыт стихотворный размер «Слова о полку Игореве», напечатанная в... «Псковской правде»,— не могу Вам здесь на даче дать более точную справку). Но слово звучащее было не только в молитвах. Оно звучало в различного рода «речах» и в простой разговорной, напевной речи. Молитвы под гулкими сводами церквей имели, конечно, очень большое значение, но не только они. Кстати, если говорить о церковных текстах, то непременно вспомните Псалтирь. Она очень ритмична и ее часто цитировали в литературных произведениях, она оказала громадное воздействие на русскую литературу не только ритмикой, но и образной системой, символами-метафорами и др.

Кстати, с болгарского на славяно-русский язык не переводили (Вы, вероятно, обмолвились в письме): древнеболгарский язык и был русским литературным языком. В него только исподволь вносились руссизмы.

«Не красоту любят, а — сан!» Это замечательно сказано. Но, все же, побывайте в Музее имени Рублева.

От души желаю Вам хорошенько отдохнуть летом. Желаю полного успеха в работе над Вашей книгой.

Ваши письма получаю, очень радуюсь им.

Искренне Ваш Д. Лихачев

Дорогой и глубокочтимый Дмитрий Сергеевич!

Пишу в страшной спешке: готовимся к переезду в город и плохо можется самому. Но, прочитав Вашу подъ-

емную книжку о «Слове», не удержусь от ответа по горячему следу. Боюсь только, что из-за спешки и нездоровья не сумею достаточно ясно говорить об очень сложном впечатлении от книги. Во-первых, замечательно то, что книга вышла приличным тиражом, значит, будет прочитана не только специалистами литературоведами, а и любознательным читателем и любознательности этой будет полезна. Во-вторых (а может быть, это во-первых), потому, что в Вашем труде Вы поднимаете такие глубинные вопросы, как о близости произносимого художественного слова с его тенью, печатным воспроизведением. Прекрасно наблюдение о двуединости темы «Слова». Прекрасное суждение о «Слове» и древнерусском искусстве. Да и все остальное на подъеме достаточно значительном, чтобы оторваться от обычных сухих шлепанцев в академических туфлях. Так что Ваша надпись на книге несправедлива и нескромна, поскольку смирение бывает паче гордости. Но вот в чем дело. Меня всегда удивляло, как это никто из «Слово»-ведов не обращает внимание на явную полемичность вступления к «Слову». Ведь это же ясно без особых доказательств, что речь идет об отстаивании какой-то иной формы повествования, чем бывшая до этого времени. И при всем почтении к Бояну, слышны упреки в разбросанности и временной и сюжетной, бывшей особенностью «соловья древнего времени». А вот автор или авторы «Слова» ограничивают себя и временем и местом действия, вернее не действия, а событий. Я пытался об этом заявлять в печати, но никто не обратил на это внимания, очевидно из-за моей малой научной авторитетности. А я полагал, что большие сведущие ученые мое замечание опровергнут или подтвердят его правильность. Но это мимоходом. А вот уж совсем мне кажется недоступной моему ощущению рассуждение о ритмичности памятника. Это, мне кажется, традиционное впадение в символическое перенесение качества одной группы яв-

лений на другую. Ведь что такое ритмическое качество? Что такое ритм? Повторение движения, создаваемое сердечным ли или механическим мотором. Говорят — ритм или аритмичность сердцебиения, ритмическая гимнастика, ритм узорного орнамента. Как это перенести на слово, я не представляю. Думается, что действует здесь традиционное понятие — нарушение метра в стихе. Но ведь это может быть мерилом только в метрическом размере! А как же ощутим ритм вне музыкального его значения? Вне отсчета долей звучания, половины, четверти, восьмой, шестнадцатой?

Когда мне довелось впервые прочесть начало поэмы Маяковского «Человек», написанное без соблюдения строчных ограничений, я долго думал — зачем он это сделал? Позже только мне стало понятно, что несоблюдение «порядка» стихотворных строк есть несоблюдение порядка стихотворных размеров, т. е. ритмического однообразия. Дальше мне стало еще более понятным, что только этим нарушением, несоблюдением порядка строк и ритмического однообразия и движется и развивается поэтическое искусство. И в «Слове о полку» я целиком нашел подтверждение моей догадки. Древний автор уже знал об этом — о необходимости нарушать движение повествования, если хочешь, чтобы оно осталось жить на долгие века. Это можно понять, но овладеть этим искусством — нарушать движение слова вместе с наплывом радости или горести, печали или гнева — дано очень немногим поэтам. Блок в «Двенадцати» достиг этого нарушения законов стихотворного повтора, Пушкин и Лермонтов, Баратынский и Шеншин в большей или меньшей степени и понимали и владели этим даром. Что же это за стих? Стих не ритмический, не размерно повторный, а стих, зависящий от взволнованности автора создаваемым произведением. Это и есть стих народный, «дышащий» весельем или гневом, удалью или унынием. К нему подходил Пушкин много раз, останавливае-

мый невозможностью перескочить барьер размеров, еще только недавно введенных в русский стих. Но написал ведь «Сват Иван, как пить мы станем...», сказку о медведице, Разинские песни. И наконец, он раз и навсегда закрепил право поэта дышать стихом, а не писать стихи. «Зачем кружится ветр в овраге? Зачем орел угрюм и страшен?» «Зачем арапа своего младая любит Дездемона?» Все это необъяснимо с точки зрения точной науки. Но вполне объяснимо, если понять, что вдохновение и есть размеренное чувством дыхание. Тогда и станут явны следы его, потом изучаемые и отсчитываемые на ритмы, размеры, метафоры, анаколуфы. Однако это будут только следы. Не знаю, сумел ли я достаточно грамотно выразить свои мысли. Но мне верится, что Вы их примете без предвзятого чувства. Мне дорого «Слово» тем же чувствуемым в нем дыханием веков. Вот что я хотел Вам сказать, не откладывая в долгий ящик.

Искренне Ваш Николай Асеев

19 октября 1961

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Доканчиваю вчерашнее письмо, крайне разбросанное и поспешное, так как хотелось сразу по прочтении Вашей книги ответить. Дописываю некоторые, пожалуй что, непонятные замечания. Во-первых, о Маяковском и «Слове». Когда я читал вступление к поэме «Человек»— я сразу же почувствовал родственность этого начала какому-то большому эпическому, что ли, произведению, которое должно начинаться именно так торжественно возгласно. «Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов — солнца ладонь на голове моей. Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на плечах

моих...» и тут же мне пришло на память вступление к «Слову о полку Игореви». «Не лепо ли ны бяше братие начати старыми словесы трудные повести о полку Игореви, Игоря Святославича...» Да, конечно же это возглашение, обращение к слушателям, к слуху, а не к глазам читателя и в том и в другом случае. Но, кроме того, сходство обращений заключалось в их вызывающей полемичности. Там против способов Бояна художественно растекаться белкой по древу, т. е. не сосредоточиваться на одном повествовательном эпизоде. Здесь же полемичность отрывка уже в самом его противупоставлении обычным способам лирико-эпического повествования. Это литургисание в светском словесном искусстве — уже само по себе полемично, брошено как вызов прежним обычным способам лирико-эпических произведений. Ну вот то, что я хотел добавить; не знаю только, поясняет ли достаточно это мою мысль о перекличке в веках двух поэтов. Еще надо сказать насчет пушкинского отрывка. «Зачем... ветр; зачем орел, зачем Дездемона?» А для того, чтобы окончательно подтвердить этими примерами то, что «ни ветру, ни орлу, ни сердцу девы — нет закона». Таков поэт. Конечно, здесь речь не о каком ином законе, кроме того, который прикладывают к так называемому ритму стиха и который есть на самом деле дыхание стиха, не поддающееся ни учету, ни измерению, если это живое дыхание, а не наигранное. Понятно — и Вам, дорогой Дмитрий Сергеевич, то, что я пытался здесь сказать? Живое дыхание, живое движение мысли и чувства не подвластно никакому закону ни размера, ни ритма. И во всяком случае они не зависят от воли даже автора, который каждый раз сам наверное удивлен, как это оно у него получилось.

Ответьте мне, прошу Вас.

Ник. Асеев

Дорогой и глубокоуважаемый Николай Николаевич!

Пожалуйста, простите меня, что задержался с ответом. У меня было одно душевное беспокойство, которое очень мешало мне сосредоточиться для ответа Вам. Я очень плохо себя душевно чувствую, когда должен по внешним обстоятельствам спешить с какой-либо работой. Я сам всегда спешу, но когда спешишь сам — это совсем другое, чем когда тебя противно торопят обстоятельства.

Ваши письма о ритме я перечитывал много раз. Сперва я не понял, а когда понял, то мне стало казаться, что я сам всегда так думал! Вот что значит верная мысль. А мысль Ваша особенно верна в отношении Слова. Мне кажется, что в том, что Вы говорите, и его разгадка связи ритма с поэтическим смыслом произведения. Я писал о том, что ритм в Слове создается синтаксисом, но теперь я думаю, после Ваших писем, что я тогда хотел сказать совсем другое — то, что говорите Вы. Эти письма для меня очень драгоценны, и я буду думать над тем, что Вы в них пишете.

Теперь о близком к этому. В конце сентября я был в Польше на очень интересной конференции по поэтике. Там я был в Варшавском университете на лекции Романа Осиповича Якобсона о церковнославянской поэзии. Я привез сюда магнитофонную запись этой лекции. У вас есть дома магнитофон, который мог бы работать на 9,5 оборотах? Р. О. высказал очень близкие Вам мысли и с большой похвалой отзывался о Вашей книге «Зачем и кому нужна поэзия» и процитировал из нее как раз то место, где Вы говорите о начале поэзии из церковных возглашений. Его лекция была призывом изучать церковные песнопения как основу древнейшей русской поэзии. Он говорил о начале церковнославянского стиха у Кирилла (Константина) (Проглас, Азбучная молитва), о различных рецепциях этого стихотворства у чехов, по-

ляков («Богородица»), сербов и русских. Вы знаете, что на эту тему он пишет с 1917 года. Кстати, он превосходный оратор (я его слушал много раз — в Москве, Софии и Варшаве). Читал он церковнославянские тексты прекрасно и многих увлек.

У меня к Вам вопрос, которому не удивляйтесь. Вы знаете, что мы в Пушкинском Доме издаем сугубо ученые и м. б. скучные «Труды Отдела древнерусской литературы», которые тем не менее специалисты очень ценят во всем мире (это сборники по 50 п. л., выходящие раз в год). Не согласились ли бы Вы написать для нас, для этих Трудов о своем отношении к древней литературе (к Слову, к Аввакуму и пр.). О том, что дала Вам или может дать современному писателю древняя русская литература. Это не должно быть ученое сочинение — этого бы мы и не хотели от Вас. Пусть то, что Вы напишете, будет импрессионистично и субъективно. Именно это нас и интересовало бы. Напишите о чем хотите, как хотите и сколько хотите. После Вас мы обратились бы и к некоторым другим писателям, а Вы бы у нас начали эту серию статей, очерков или писем. Серия эта была бы для нас очень важна и интересна во многих отношениях. Но начать ее мы хотели бы Вашими соображениями, размышлениями или воспоминаниями — как хотите. Подумайте, пожалуйста; мы Вас ничем не стесним и не ограничим.

Желаю Вам всего самого хорошего.

Искренне Ваш Д. Лихачев

4. XI. 61

Поздравляю Вас с наступающим праздником.

Москва. 8 ноября, 1961

Дорогой и чтимый мною Дмитрий Сергеевич!

Чтимый не только «чествуемый», но и читаемый мною. Ваше письмо, которого я заждался и уже стал побаиваться, как разгромного за мои домыслы о вдохновении — единственной мере стиха, и ободрило и одобрило меня. Видите, как от простой перемены местами двух звуков меняется оттенок смысла «ободрило — одобрило». И потому сейчас же кинулся отвечать Вам. Не знаю, пригодится ли мое наспех набросанное замечание о родословной речи для Пушкинского Дома; оно может остаться и просто письмом к Вам. Но вот что я думал бы дать для указанного Вами сборника. Это отдельные строфы из моей «Поэтической истории», которую я понемногу пишу. Например, как Вам приглянутся следующие строфы:

В городе стих начинался с виршей,
вылился в оду и в мадригал;
изустный же — подбирался Киршей
Даниловым,— сосланным на Урал.

Стих при дворе был приятным, полезным
чувств верноподданнических плод;
а на Урале — стих был железным,
пламенным от огневых работ.

Там был стих, как живое слово,—
не лампадка у царских икон,
там был стих — кумача обнова,
не из польско-немецких сукон!

Там Пугачу отливались пушки,
стих ни пред кем там не гнулся дугой;
о таком и говаривал Пушкин,
как о речи простой и нагой.

Вот что я думал отдать Пушкинскому Дому. Только следовало бы в отрывке этом переставить строфы вторую на первую, и наоборот. Посылаю Вам и это как письмо. Отвечайте мне, прошу Вас; мне Ваши письма точно коню хлыст. Будьте здоровы и сильны, как и до сих пор.

Ваш Ник. Асеев

Родословная речи

Когда я был еще мальчуганом, я любил читать вслух Гоголя «Вечера на хуторе». У меня был звонкий голос, очевидно, выработалась хорошая дикция и артикуляция, и меня священник в нашем реальном училище назначил читать «Часослов» в училищной церкви перед вечерней службой. Не скажу, чтобы это доставило мне удовольствие, но полусумрак в церкви, озаренной лишь редкими огоньками свеч кое-где перед иконами, эхо, отдающееся в пустом церковном помещении, все это создавало какое-то романтическое настроение. И, читая часослов, я невольно вникал в смысл полузнакомых звуков славянского языка и похожего на русский и отличного от него во многом. «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бежу?» Как будто — и схоже с обычными словами и отлично от них. «Камо грядеши?» ведь это название романа Сенкевича. А бежать ведь и бегать — не одно и то же значение. И именно в простонародном говоре сохранилось это отличительное свойство глагола. Мальчишки никогда не говорили «убегу», а всегда «убежу». Так сохранялась старинная форма звучания глагола. Читая часослов, я заметил, что периоды его разделены удобно для произношения на части, равные дыханию; они никогда не прерывают своего размера до выдоха. Это было достаточно ясно из практики чтения вслух. Так впервые я понял, что разделение на периоды читаемого вслух предусмотрено сочинителями часослова.

Я сызмала не верил в бога, хотя немного побаивался нечистого. Однако мне очень нравились праздничные образы: — рождественские колядованья, трепетные огоньки в бумажных фонариках, несомых свечек со «страстей» в четверг предпасхальной недели. И, наконец, сам праздник Воскресения, со вставанием среди весенней полуночи, когда так хочется еще поспать, с посещением пасхальной заутрени, где торжественность всеобщего христосованья для мальчишек постарше уже носила и соблазнительную возможность поцеловать нравящуюся тебе девчонку, с битьем крашеных яиц, с разговеньем после поста, соблюдавшегося старшими и обязательного потому для младших. Все это вносило оживление в сухие каноны и правила религии. И все это сопровождалось словами, запоминаемыми с детства, как, например, «друг друга обымем», «красота душевная», «крылья духа», которые из религиозных образов входили в обиход обычной речи. И все эти «ибо», «вотще», «подле» — также обживались в говоре, не отличаясь от остальных слов.

Чтение часослова нравилось мне еще тем, что похожие звучания речи все же отличались от звукосочетаний обычной разговорной. Язык, как будто бы и знакомый, требовал узнавания смысла под оболочкой несколько непривычной. Так мне впервые привито было распознавание значения слов не только по внешнему, но и по внутреннему их смыслу. А это и было поэтическим языком.

Подросши, я искал дальнейшего применения своей обозначившейся способности и приверженности к распознаванию смысла слов не только в обиходном, потребительском их значении, но и первоначальном, корневом, которое часто забывается и оставляется без внимания. А именно в славянском звучании выступает основной смысловой корень слова. Например, в слове «нельзя» совершенно исчезло его первоначальное значе-

ние — не лезь, не нападай, не задирай. А между тем в летописях это именно значение выявляется в том, что тот или иной князь «налез со своими полки» на другого. Или в слове «кресь» — огонь — совершенно не ощущается его дальнейшее применение в названии праздника, а затем и просто дня недели в слове воскресение. А ведь смысл этот перешел через границы двух вер: и той, при которой люди праздновали появление огня — в солнце ли или открытии его в земном трении двух древесных сучьев. Так далеко и давно заходит значение словесных смыслов, не ощущаемых в обычной речи! Поэтому-то я, уже присмотревшийся к славянским словам, зачастую несущим в себе это скрытое значение, это семечко проросшего в современную почву слова, обратился к летописям, ища в них богатства значений слов и звучаний, не поддающихся простому языковому исследованию. И я был вознагражден за свои поиски. Множество речений открылось мне в забытых страницах хартий. Я понял смыслы как будто неразгадываемых слов. Что значит, например, слово «мелкий»? Не от крошащегося ли мела произошли они? А что значит слово «кровь»? Не от сокровенности ли его значения произошло оно?! А что значит «плоть», что значит «гореть», что значит «святой»? Не от пылания ли, не от подымания ли вверх, не от света ли произошли эти слова? «Плоть — пылать», недоверчиво скажете вы? «Гореть — подыматься ввысь»? «Святой», как светлый, как светоносный? А не домысел ли это поэтического воображения?! Нет, это домысел наших предков, создававших эти слова. Поэтому «плоть — пылает», а «тело — тлеет». Поэтому «гореть» от «гора». «Горе имеем сердца», возглашает торжественно литургисающий. А что это значит? Возгоримся сердцами, вознесемся вверх, как возносится горящий дым. А как же объяснить одинаково звучащее — «горе»? А разве горе не возвышает человека духовно? Горе и гора одного корня. Много слов можно было бы

привести в пример; но это было бы уже целое исследование, для чего у писателя нет ни достаточно знаний, ни специально отданного времени. Но вот Пушкин. «Отцы пустынники и жены непорочны...» Почему же умиляет Пушкина именно эта, на вдох и выдох размеренная, молитва великого поста? Да именно потому, что в ней ясно чувствуется та поэзия, которая, оснащая возглас силой призыва, силой веры, сообщает ему особое звучание. Это великолепное религиозное стихотворение: «Господи, владыка живота моего»... тронуло Пушкина своей удивительной простотой, соединенной в размерность вдохновения. Уныние, праздность отвергаются в этом призыве. А праздность здесь вовсе не празднование чего-либо, а лень. И вот подите ж вошло это словечко рядом с уже существующим понятием лени. Да, значение слов не всегда нами принимается во внимание. Отсюда ошибки в их применении, замена одних другими, небрежность в их выборе. «Ищем речи точной и нагой» (Маяковский). А разве не Пушкин еще раньше сетовал, что «прелесть нагой простоты нам еще непонятна». А разве еще раньше не Лейбниц писал о том, чтобы понимать точное, т. е. корневое, значение слов: «Понимайте значение слов, и мир будет избавлен от множества ошибок».

Но мы часто еще не до конца распознаем происхождение слова. И небрежность в этом отношении не дает нам полностью овладеть речью и литературной и разговорной.

То, что подразумевается под вдохновением, то есть размерность речи, не всегда еще гарантирует ее поэтическое первородство. Об этом замечательно написал Баратынский:

Глупцы не чужды вдохновенья;
Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:

Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.

Глупость не различает значения слова. То или иное схожее по смыслу не все ли равно! Вот это-то и лишает силы художественную речь, отказывающуюся от своей обязанности быть «точной и нагой», от речи, в которой мы не только в стихах, но и в прозе гоняемся за обветшалыми украшениями, «поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем» (Пушкин).

Вот это сходство высказываний двух наших замечательнейших поэтов и заставляет меня обратить внимание на обязательность изучения родословной языка, к летописям и памятникам давнего периода литературы, собранию древних российских стихотворений Кирши Данилова. А ведь на это мало обращают внимания в наших словесных вузах, уж я не говорю про школьное обучение. «Славянщина!» — презрительно скажут многие. И это презрительно-небрежное отношение отзовется потом незнанием родного языка у взрослых. Не усвоивши его начал, его первичного значения, никогда не дойдут до речи точной и нагой, до понимания смысла слов, отчего можно было бы избегнуть множества ошибок. Ошибок не только в обиходной, но и в литературной речи.

Ник. Асеев

1961. XI. 7

Дорогой Николай Николаевич!

Завтра заседание Сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, и я перед докладом прочту и Ваш превосходный отрывок из «Поэтической истории», и Вашу «Родословную речи».

Это будет хорошее начало для наших публикаций этого рода. Спасибо, спасибо и спасибо. Все, что Вы пишете, верно и метко. Это как раз то, что мы хотели.

А мне в древней литературе нравится еще необыкновенный лаконизм и простота (особенно в летописи и у Афанасия Никитина): «И приспе осень, и помяну Олег конь свой, иже бе поставиль кормити и не вседати на нь...»

«И тут есть Индейскаа страна, и люди ходять нагы все, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косы плетены, а все ходят брюхаты, дети родять на всякий год, а детей у них много, а мужы и жены все черны: язъ хожу куды, ино за мною людей много, дивятся белому человеку».

Разве не прелесть? Пишет — без всяких дум о слове, а слова все верные, точные — и о самом главном.

А какие сюжеты? Ерш Ершович, Повесть о Басарге, Петр и Феврония. Во всем это не выучка, а природная грация — от родителей, что ли. К чему древнерусский человек ни прикоснется — все красиво. Ложку топором выстругает — и та красавица. Волшебник. Ведь и говорили, верно, так, что заслушаешься. Даже грамоты деловые писали как ладно — и образно: «свеча чтобы не угасла» (это князь пишет духовную и боится, что род его прекратится), «куда топор и соха не ходили» (это о землях, куда еще не проник человек) и пр. Будьте здоровы.

Искренне и всегда Ваш Д. Лихачев

13.XI.61

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Тронут вниманием, с которым Вы относитесь к моим поискам начал стихов. Боюсь, что в Пушкинском Доме маститые стиховеды отнесутся к ним не так доброжелательно. Я никогда не имел дела с учеными славистами, кроме Вас и Р. Якобсона, который тоже смотрел на меня ободряющим взглядом. Однако Томашевский, например, как-то сказал, что он запретил бы студентам слушать мои домыслы. Боюсь, что они, эти домыслы, могут показаться ересью и другим строгим ценителям установившихся теорий стиха.

Но сейчас дело не во мне. Я очень хочу, чтобы Вы взяли шефство над очень талантливым поэтом-ленинградцем, замечательно понимающим значение и роль летописного искусства, которое он бережно переносит в практику своих стихов. Переносит не стилизуя, не подделываясь под тогдашний строй речи, но проникая в нее со всей чуткостью поэта. Чтобы характеризовать его творческую особливость, приведу только один абзац его недавнего письма ко мне.

...«Странно — когда я сажусь за современные стихи я фантазирую; когда сажусь за исторические — вижу все до того реально, до того зримо, что хочется оттолкнуться от летящей стрелы».

Согласитесь, что так и в художественном произведении не напишет так четко, даст такой образ, каким Виктор Александрович Соснора — так его мимоходом обмолвливается в простом письме. И вот он вынужден работать слесарем на одном из заводов Ленинграда, стуча молотком по зубилу, хотя он на это и не жалуется. Однако для стихов это не подмога. Он молод, только недавно пришел с военного обучения, пишет очень много, но напечататься для него почти «не показано». Все редакции берутся за голову,— дескать, куда нам стихи тематикой 1111 года! Наконец я пробил стену и

добился принятия его тысячи строк в издательстве Совпис в Ленинграде. Но чего мне это стоило! Там сидит редактором некто Авраменко, личность загадочная по своим успехам на литературном поприще. Стихи у него поддельные под Полонского, но без вкуса и цвета. Но он их издает во множестве — какая ему ворожит бабушка, неизвестно. Он было совсем отрицательно отнесся к стихам Сосноры и только после усиленного нажима на главную редакцию в Москве, нехотя и медля согласился подписать договор на маленькую книжечку. А Соснора живет трудно и не жалуется никому, кроме как своим стихам, иногда приобретающим грустные оттенки. Ему необходима сильная рука, поддерживавшая бы его историзм в стихах. Поэтому-то я и рекомендую его Вам, не как подражателя, а как открывателя совмещения в стихе древнего с сегодняшним, вводящим в словарь темы древности смелые говорные термины и интонации, вроде слов «завихренья», «роба», «взъерепенились», «барахло», «халупы», от которых должны прийти в ужас пунктуальные славоведы, как не свойственных древней лексике. А именно в том-то и прелесть этих стихов, что они звучат сразу и по-славянски и по-русски, по-современному и по-давнему. Я посылаю Вам на пробу одно из таких стихотворений, в котором не только есть и вкус и цвет «об он пол времен», но и любовь к языку, не формальная, а живая, речевая, современная, несмотря на то, что тема древнейшая. Не знаю, совпадает ли Ваше мнение в данном случае с моим, но очень хотелось бы, чтобы Вас затронуло это несомненное, недюжинное дарование. На всякий случай посылаю адрес Виктора Александровича Сосноры: Ленинград, ул. Куйбышева, д. 21, кв. 35. Очень жду Вашего ответа по этому поводу.

Искренне Ваш. Ник. Асеев

1961. 25 ноября

1111 год

Между реками, яругами, лесами,
Переполненными лисами, лосями,—
Сани, сани, сани, сани, сани, сани.
Наступают неустанно россияне.

Под порошей — пни, коренья нетелесны.
Рассекают завихренья
Нити лезвий.

На дружинниках меха —
Баранья роба.
На санях щиты поставлены
На ребра.

Шустро плещутся плащи
По перелескам.
Даже блестки снеговые
В перелеске.

От полозьев —
Только полосы на насте.
Как бояре взъерепенились
На князя:

— Ты, Владимир-Мономах,
Мужик — не промах.
Ты казну и барахло
Оставил дома.
Ты заставил нас покинуть жен, халупы,
Обрядить свою холопину
В тулупы.
Где ж добыча, князь?
Мороз-то — не охнуть.
Все в сугробах половецких
Передохнем!

Разъярился Мономах:

— Чего разнылись.
Разве сани не резвы
И не резные.
Разве сабли не заточены
На шеях.

Так чего же вы разнюнились,
Кощеи.
Не озябли вы, бояре,
Не устали.
Вам давненько по ноздрям
Не попадало.

Тяжела у Мономаха
Шапка — ярость.
Покрутив заледенелыми носами,
Замолчали пристыженные бояре.

Между реками, яругами, лесами
Снова —
Сани, сани, сани, сани, сани, сани.
Наступают неустанно россияне.

Дорогой Николай Николаевич!

Ваша телеграмма меня очень пристыдила, но и... породила чувство тайной гордости: значит, мои письма нужны!

Причина моего молчания самая обыденная: я хворал и с высокой температурой должен был выступать оппонентом. Я не хотел сорвать защиты, готовился к выступлению с головной болью, плохо что-нибудь понимая, а потом так обрадовался, что можно отдохнуть, что просто лежал два дня и смотрел в потолок, поеживаясь от безделья. А встал — и все снова завертелось, ведь конец года, работы сотрудников моего сектора древнерусской литературы надо прочесть, дать им оценку и свои работы надо отдать. Очень это скучное время — конец года.

Стихи В. А. Сосноры мне понравились: в них что-то поет, и он чувствует эпоху не по-оперному. Непременно напишу ему, чтобы повидаться, как только полегчает с казенной работой.

Я Вам писал уже, кажется, что Якобсон с большой

похвалой отзывался о Вашей книге «Зачем и кому нужна поэзия» на лекции в Варшавском университете? У меня есть магнитофонная запись этой лекции.

Будьте здоровы (это пожелание от человека хворого и знающего цену здоровью).

Еще раз прошу Вас очень простить меня.

Искренне Ваш Д. Лихачев

21. XII. 61

1961. Декабрь 23. Москва

Дмитрий Сергеевич!

Фу! Слава тебе, боже, Аполлоне! А я ведь побаивался, что Вам не понравились стихи Сосноры и, значит, вслед за этим, и я сам потерял у Вас кредитоспособность вкуса!

Однако лучше было бы, чтобы Вы не болея молчали. И вдвое лучше, что Вы, переболев, выздоровели и снова я получил от Вас почерком написанное, что говорит о возможности владеть рукой и словом без ограничения. Спасибо. Так Вы говорите, стихи Сосноры не оскорбили Вашего тончайшего слуха, в котором гулы тысячелетий могут быть нарушены дерзким голосом молодого современника, слесаря Ленинградского завода, бросившегося в поток времен?! Я всегда поражаюсь зоркости Пушкинского молодого глаза, который мог так пронизать время:

Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья.

И вот вдруг появляется ленинградский паренек, так же легко прогуливающийся по временам, как обезьяна по ветвям дерева. Это меня и удивляет и трогает. По-

моему, нет никого из современных стихотворцев, кто бы хоть на вершок был ближе к поэзии, чем мой Соснора. Правда, он очень хрупок, незащищен от бурь и морозов жизни; но он упрям в своей погоне за словом, и оно ему часто дается в руки. Так вот — «времен от вечной темноты...» Соснора неожиданно является свидетелем того, что только намечено в документах древности. Я уверен, что Вам было бы интересно встретиться с ним. Он недавно только женился на «восклицательном знаке», как он шутя определяет свою подругу. Его адрес: Ленинград 46, Куйбышева, д. 21, кв. 35. Зовут Виктор Александрович. Попросите его показать Вам стихи: «Битва с Редедей», «Бегство князя Игоря из плена», «Разговор Кончака с Гзой», да и другие, хотя указанные — в первую очередь. Они как бы впереди других, по-моему. Но и современные стихи превосходны. В особенности поэма «Рубеж». Это совершенно самостоятельный, уже определившийся голос, со своей интонацией, со своими тембрами. И вот никак я не могу представить читателю полностью. Насилу добился, чтобы напечатали тысячу строк. Да и то еще тянут. Вот все пока.

Вы пишете, что Якобсон упоминал о моей книге в Варшаве? А я ему только что послал ее в Кембридж. Как же так он не сообщил мне о себе?! Буду ждать ответа. Еще раз спасибо Вам за то, что выздоровели.

Искренне и душевно Ваш Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Сейчас написал Сосноре предложение сделать поэтическое переложение «Слова о полку Игореве» для базы Библиотеки поэта. Я там буду редактором этого выпуска.

Если он согласится,— помогите ему, пожалуйста, со-

ветами и указаниями. Переводов «Слова» много, но выдающихся почти нет.

Очень хотелось бы, чтобы «Ладу» дали Ленинскую премию.

Будьте здоровы.

Всегда Ваш Д. Лихачев

15. I. 62

Москва. 17 января 1962

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я очень рад, что Вы заинтересовались творчеством В. А. Сосноры. Думаю, что оно попадет в отличные руки Вашего редакторства. Только, мне кажется, вряд ли было бы плодотворно обязать его дать точные, последовательные переложения памятника. Все попытки переводов «Слова» производят жалостное впечатление сонаты, попробованной одним пальцем к проигрыванию. На этот счет у меня даже было столкновение с одним обидчивым переводчиком, пытавшимся воспроизвести суровую красоту оригинала посредством облегченных средств. Я не говорю уже об ужасах со стихотворными искажениями подлинника! Соснора первый, кто без формальной точности, но с удивительным чувством строя языка приблизил к читателю великое «Слово». Причем он вовсе не следует за всем развертыванием свитка времени, угадывая самые его значительные эпизоды. Такие, как, например,— бегство Игоря, разговор Кончаковны с Гзой и другие. Особенно это ясно в эпизоде битвы Мстислава с Редедей, о которой в самом «Слове» сказано-то всего две фразы. А Соснора воспроизводит самую битву с удивительной экспресси-

ей и красочностью. Так что, если издавать все это, то, мне кажется, было бы правильней только как «Эпизоды» «Слова», вместе с самим подлинником, иллюстрируя, так сказать, стихами сегодняшнего поэта. Как Вы думаете на этот счет? Если еще красочными виньетками того же стиля, хорошего художника? А впрочем — Вам виднее.

Крепко жму руку

Ник. Асеев

Москва 1962. 29 января

Драгоценный Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваши письма с отзывами о Сосноре. Вы, конечно, правы, как и всегда в делах такого рода: Соснору надо бы показать в свете «Слова о полку», но переводчиком его представить я не могу. Это все равно что птицу за ногу привязать и пытаться управлять ее полетом. Прелесть сосноровских «перефантазирований» именно в том, что он не повторяет подлинника, а — на влюбленности в подлинник — продолжает видеть воображением его запредельные картины. Такова, например, битва Всеслава с Редедей, о которой в «Слове» всего две строки сказано. А у Сосноры эта битва живет перед глазами с тончайшей характеристикой участников и обстоятельств. Какой же это перевод! То же самое и с разговором между Гзой и Кончаком о молодом Игоревиче; то же — с главой о скоморохах в Киеве, с описанием бегства Игоря и т. д. Не все равноценно, но все удивительно видимо. Так вот — нельзя ли бы к «Слову» прибавить в качестве иллюстраций (словесных) эти эпизоды из стихов Сосноры, как показ влияния летописи на современного поэта! Ведь не было

еще во всей нашей поэзии такого перевоплощения. Поэтому я и думаю, что Ваше безупречное знание первоисточников не смутится перед вторжением памятника древнейшей нашей поэзии в современный век. Обосновать такое дополнение к изданию «Слова» можно и должно именно нестареющей силой поэтического влияния. А это было бы здорово хорошо, что современный молодой поэт — продолжает великолепную живописность и силу старинного памятника. Как вам это мое рассуждение?

Теперь о другом. То есть не о другом, а о том же с другой стороны. Ведь список «Слова» стал известен без разделения не только на фразы, но даже и на слова. Не следует ли из этого, что переписчик руководствовался тем существовавшим убеждением, что слова будут произносимы в таком порядке и в такой интонации, которая будет подсказана самим произношением их, т. е. рассчитаны на дыхание при произнесении. Иначе зачем бы было сливать все слова в строку? Ведь не из экономии же места это было сделано? Жду ответа от Вас.

Я получил последнее Ваше краткое послание из Москвы. Обрадовался, думал — уж не в Москве ли Вы сами? Потом понял, что письмо отправлено из Москвы кем-то по Вашему поручению.

Дмитрий Сергеевич! У Вас наверное есть домашний телефон. Не доверили бы его мне, чтобы иногда переводить письмо на живой обмен. Я же обязуюсь не звонить попусту и не беспокоить Вас зря.

Мне прислал А. Горелов длинное письмо о «Кирше Данилове». А я не знаю, что ему ответить,— до того мне чуждо кропотливое исследование, вместо живого ощущения памятника. Не важно мне, какой Куракин упомянут у Кирши. Важно, что именно Куракин говорит: «Изопьем-ка вина, то прибудет ума»: А Куракин был

отец «казенного вина». Вот что мне бросилось в глаза. А какой именно Куракин, не столь важно...

До свидания, хотя бы в письме!

Любящий Вас Ник. Асеев

КНИЖНАЯ МУДРОСТЬ

Совершенно иной вариант красоты —
чем какой она виделась нынешним людям —
и другие стремленья, желанья, мечты
мы тогда ощущать и испытывать будем.

Мы, но это уж будут не мы, а — они,
что по-новому будут глядеть и трудиться...
Сотню лет лишь, не более, повремени,
и ты сможешь по-новому переродиться!

Будут жизнь как невесту носить на руках,
будут жить по веселым и легким законам;
станут сказки рассказывать на облаках:
Змей-Горыныч — в забеге с Китайским Драконом.

А пока еще
в морду грозят кулаком,
нож и пуля играют в кровавые сцены,
я останусь таким же, как все, дураком,
не поверившим в близкие перемены.

Ведь пока я на нынешнем свете живу
и пока мое сердце о ребра гранится,
я грядущее вижу не наяву,
а оттиснутым бледно на книжной странице.

1962. 4 февраля

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Посылаю Вам свое самое свежее стихотворение, первым читателем которого я хочу видеть Вас. Что это? Или уныние,— но уныния нет и помину: меня везде

хвалят, пресса устроила вокруг меня чуть ли не дежурство, как возле тяжело больного; я должен бы выглядеть бодрячком, а я задумываюсь над тем, о чем никто не говорит. Но именно потому я и должен над этим задумываться! Иначе грош цена всем похвалам и мне самому. Вряд ли напечатают это стихотворение в журналах. Но я должен писать не только для редакций. А как дойти без них до читателя? Вот я и дохожу до Вас, одного из немногих, мнение которых я ценю.

Ник. Асеев

13.II.62

Дорогой Николай Николаевич!

Ваши последние стихи, которые Вы мне прислали, отражают настроения очень многих. Они «резонируют». Но они вовсе не пессимистичны, как Вы думаете. Пессимизм — это равнодушие. Взяточник, который берет взятки, чтобы лопать, покупать хрусталь на сервант, «шиться» у модного портного, ходить в ресторан,— вот это гогочущий пессимист. А человек, которому грустно от того, что нет правды и много лицемерия,— это не пессимист. У Ключевского есть очень хорошая статья «Грусть». Ее, конечно, не включили в нынешнее собрание его сочинений. Если не помните ее,— посмотрите. Я за грусть и за тоску — за самые человеческие из человеческих чувств. За Ваши стихи.

А в общем у нашей эпохи есть, конечно, своя Лизавета, даже много Лизавет. И своя укладка, заложенная под камень на Вознесенском проспекте.

Звонил Соснора. Голос у него приятный. Я пригласил его почитать свои стихи у нас в Секторе древнерусской литературы. Сейчас он едет в отпуск — в Пушкинские Горы, а по возвращении почитает.

Вчера сдал в издательство рукопись своей «Текстологии», над которой работал несколько лет. Получилась очень пухлая книга (37 п. л.). Потом выпущу в сокращенном виде — нечто вроде учебника или руководства листа на 4—5. Но без полной книги нельзя сделать сокращенную.

«Болею» за Вас. Мы, литературоведы, профессиональные болельщики. М. б. поэтому к нам никто и не относится всерьез.

Будьте здоровы и счастливы, и немножко грустны.

Всегда Ваш, любящий Вас Д. Лихачев

Дорогой и высокочтимый Дмитрий Сергеевич!

Не осудите некоторую высокопарность этого обращения. Но Вы и в самом деле высоко стоите в моем мнении о Вас, как о человеке и ученом. Ведь соединение в одном лице и познаний и чувств создают действительное почитание такого, редкостного соединения. Оно наблюдалось в Павлове и в Сеченове, в Лобачевском и в Ленине. Когда встречаешь его в человеке тебе знакомом, то радуешься, что не один он, оказывается, на свете и в былом; что и сейчас при тебе есть люди того же толка и значения, еще не оформившегося в людском понимании масс. Почему я это пишу? Потому, что я предчувствую, каким вкладом в науку будет Ваша «Текстология». Потому, что Ваша чуткость и опытность к пониманию слова должны создать не учебник, а учение. Такими учениями о языке были книги Потебни — «Мысль и Язык», «Грамматика», «Синтаксис», которые теперь бы очень пригодились молодежи, не умеющей управлять предложением, не заботящейся о точности выражения. Но Вы мне написали такое доброе письмо, что я и впрямь поверил в свои права иногда разгруститься. Как это хорошо Вы говорите о пессимизме —

«жрущих и пьющих», норовящих одеться у модного портного, заставить хрусталем свой сервант! Нет, Вы ученый не только с именем, но и с душевной зоркостью, с человеческим гордым полетом мысли. Непреклонным и независимым.

Почему Вы не пришлете мне номера Вашего телефона? Я бы иногда (не часто) все же имел возможность перемолвливаться с Вами живым голосом, а не машиночной стукописью.

Я рад, что голос Сосноры Вам пришелся по душе. У него, по моим приметам, очень трудно на душе. Пишет он сейчас стихи современные; они хороши, но очень грустны: сплошь Иеремиады! Ему бы очень помогло Ваше участие, хотя бы слухом. Он очень скромен и вместе с тем заносчив внутренне. Но человечен. И талантлив. Не знаю, «зачем и кому нужна поэзия»,— но она «пресволочнейшая штуковина: существует — и ни в зуб ногой!». Пожалуйста, пришлите телефон и время, когда он не будет мешать работать.

Искренний и дружелюбный Ваш Ник. Асеев

1962. 20 февраля

Москва. 2 марта 1962

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Перечел от доски до доски Вашу книгу о «Слове»; удивился еще раз Вашему пониманию, Вашему ощущению памятника. Огорчился своим невежеством относительно всего, что связано с его познанием. Вы замечательно говорите о многоритменности «Слова», о его, так сказать, полифоничности, обязательно следую-

щей за содержанием повести. Вы абсолютно правы, говоря, что все попытки переложить ритмы памятника на современное стихосложение обязательно терпят неудачи, поскольку авторы переводов в стихах втискивают в размеры то, что не является размерным, равномерным, искусственно созданным. Мое понятие «вдохновения», то есть зависимость построения фразы, предложения, строфы от полноценного дыхательного запаса, необходимого не для чтения глазами, а для передачи слуху смысла произведения. Ведь сохранившийся позднейший список «Слова», как мне помнится, был без разделения не только фраз, но и отдельных слов?! Значит ли это, что список был безграмотен? А не говорит ли это о том, что в обиходе было разделять возгласы на полнозвучие, в зависимости от дыхательного, произносительного аппарата! Ведь тогда не было множества читателей глазами, а было множество слушателей. Теперь о переводах и стихотворных да и прозаических. Мне думается, что все они безнадежные попытки приблизить «Слово» к его первооснове. В самом деле, начать хотя бы с первых абзацев строф. Что ни слово, то нет уверенности в правильности истолкования. «Не лепо ли ны». Что означает это выражение? «Лепо» — наречие ли это глагола «лепить» — украшать. Ведь «лепость», «лепота» — это синонимы красоты. Но глупо было бы переводить: «Не красиво ли было бы нам, братие...» Может быть — «не следовало бы нам, братцы», так как будто по-русски сравнительно правильно; но тогда произвольное толкование выражения «не лепо ли»! «Не красно ли»? Нет, не то. Не достойно ли нам? Опять-таки произвольное расширительное толкование выражения подлинника. Я нарочно не взял в руки сейчас имеющихся переводов, чтобы быть независимым в своем суждении. «Начати трудные повести...» Что за слово трудные: печальные, тяжелые, горькие? Все три значения подходят, но не передают силы эпитета, при-

мененного автором «Слова». В подлиннике имеются значения всех указанных вместе, но не раздельно каждого из них. Вот и надо думать, как же все-таки и точность смысла соблюсти и не раздробить смысл на частные значения. «Начати старыми словесы». Какое значение придано в подлиннике этому выражению? Старыми словами? Старыми средствами выражения? Старыми в смысле привычными? Скорее всего подходило бы значение обычности слов, то есть средств выразительности. Но тогда опять-таки уход от прямого значения слова «старые». А принимая во внимание явную полемичность авторов «Слова» со «старыми словесы», то есть с художественными средствами выражения, применяемыми Бояном Вещим, совсем иными оттенками светит это введение в повествование. Так-то вот обстоит дело с первых же строк толкования значения слов подлинника. Как же можно перелагать его на язык современья, не повредив ткани словесного тончайшего орнамента?! Вот поэтому я за то, что лучше уж «фантазировать» на эту тему, чем пытаться воспроизвести подлинник средствами иных времен иного, хотя и сродного, языка. Именно близость звучания того или иного слова может ввести в заблуждение. А такое искреннее заблуждение может сказаться и на понимании самого «Слова». Но это все мои домыслы. Вам они должны быть если не убедительны, то понятны. Вы сами пишете о неудачности подвести ритм «Слова» под какой-нибудь размер или комбинацию размеров. И поэтому мне гораздо дороже приводимые Вами толкования профессора Н. В. Шарлеманя удивительного совпадения звучания голосов птиц и зверей с их начертанием. Гораздо дороже, чем попытки перевести слова древнего памятника на общерусский, да к тому же еще не точный язык. Поэтому же мне гораздо более близки попытки Сосноры «перефантазировать», а не перевести «Слово». Дорогой Дмитрий Сергеевич! Я знаю Ваш телефон,

но не рискую надоедать Вам звонками, ценя Ваш покой и время. Если же Вы захотели бы услышать мой голос, возьмите инициативу на себя. Мой телефон в Москве: Б-9-87-38. Но только если Вам действительно прийдет охота. Крепко, крепко жму Вам руку.

Ваш искренний Николай Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Сегодня первый день, как я оправляюсь от страшной усталости.

Мы были в Карловых Варах. Там была неприятная погода: то дождь, то снег, то ветер. Все это менялось по четыре раза в день и действовало на нервы, утомляло. А под конец мы с женой выбрались на 5 дней в Прагу. В Праге внезапно оказалась летняя жара (28^0 в тени), и мы все ходили, ходили, ходили. Нельзя было насмотреться на этот сказочный город. Прага необыкновенна. Нас водили очень хорошие знатоки города и необыкновенно интересные люди. Особенно понравился мне один — доктор Мареш, он занимается церковнославянским языком, рукописями, кольцует птиц, стреляет из лука (победил в этот день чемпиона мира) и состоит в добровольной пожарной дружине в маленьком городке Бенешове, где он родился. И все это от души, все это он любит. Мы расстались с ним друзьями самыми близкими. Выехал я из Праги счастливый, но едва живой от усталости и от возобновившейся язвы. В Москве почувствовал себя плохо. В Ленинграде страдал от язвенных болей и очень много готовился к совещанию по древнерусской литературе. Совещание у нас было с 22 по 26 мая. Вчера оно кончилось. Я поехал на дачу. Сижу на балконе и пишу. Вечер хорош, тихий, и море (оно видно из окон) совсем светлое и тихое. Но хворает внучка (у меня две дочери, обе замужем, мы

живем вместе — 7 человек), и я ее жалею. Язвенные боли улеглись.

А вообще-то усталость и язвенные боли сопровождают меня всю жизнь. Все не так, как хотелось бы пожить: без спешки, работать над любимой темой, грести по вечерам и смотреть на воду, на волны. Хотел завести себе такой магнитофон, чтобы записать пение птиц и шум прибоя. Вместо того — купил себе пластинки «Голоса птиц в природе» и вот теперь послал их Марешу в Прагу. Ищу эту пластинку,— но ее уже нет в продаже.

А Якобсон все-таки очень живой человек и хороший пропагандист русской культуры, древнерусской тоже. Издал он кондакарь и стихирарь, псковский разговорник начала XVII в. (только что вышел). О «Прогласе» Константина — Кирилла добуду Вам даже в Ленинграде библиографическую справку. Прочесть его надо. А если буду у Вас в Москве, то захвачу с собой магнитофонную ленту с лекцией Якобсона о церковнославянской поэзии. Оратор он вдохновенный, кажется — в манере Белого. Чуть театральный.

Мечтаю сейчас написать крошечную книжку «Русской литературе тысяча лет». Но время для этого будет не скоро.

Будьте здоровы, отдыхайте.

Искренне Ваш Д. Лихачев

27.V.62

А Соснора хороший!

Николина гора. 1962. 6 июня

Дорогой и дражайший Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваше прелестное письмо с Марешем, Прагой, морем и Якобсоном. Оно было бы совершенно прекрасно, если бы не опечалило меня сообщением о Вашей болезни. Это почти как личное горе. На себе я испытывал в течение 30 лет влияние каверны в верхней части левого легкого. Я боролся с ней всевозможными средствами: и пневматораксом, и парааминовой кислотой, и фтивазидом. В общем, я столько вогнал в себя химии, что, справясь кое-как с каверной, получил взамен бронхоэктаз, одышку, перебои сердца и недостаточность ощущения жизненной энергии. Но это все как-то заменяется энергией ощущения слова, его дыхания, его многозначности. Все это я пишу Вам, чтобы Вы, кто сам не меньше чувствует слово, поняли и свою и мою болезнь, для которых одно лишь леченье — работа над словом. Да Вы и сами все это знаете, и мои рассуждения могут Вам показаться ненужными. Но все же я ими поделюсь с Вами. Хотя бы в расчете на то, что и Вы расскажете о себе более распространенно. А то ведь я питаюсь слухами о Вас. Слухами, правда, только одобрительными, так как иных я и слушать бы не стал.

Рад я, что Вам пришелся Соснора по душе...

Ну, вот расшумелся я, без всякого толку. Уж куда тут о поэзии, когда речь идет о космическом пространстве! Простите, что докучаю Вам, но Вы для меня то же, что для Вас Мареш: и ученый и человек.

Как бы мне Вас увидать?! Ведь наше эпистолярное знакомство, при всей его необходимости, не полно без личного. Привет Вашей семье, состоящей по Вашему подсчету из семи персон. А не одного ли это начала слов «семь я»? Ну это я уж до помешательства дохожу в

звучании слов. До свиданья, до живого свиданья. А может быть, «семья» — от «семена»? Семя, семья. Но и тогда число 7 к месту. Пришлю Вам маленькую книжечку, приложение к «Огоньку». Там две обложки: одна с фото, а другая со стихами, служащими упаковкой для стихов 42, 43 годов. Они «самые мои».

Любящий Вас Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Одна моя знакомая сказала, что, глядя на литературоведов, она перестала верить в воспитательную силу литературы. Я думаю другое: развивается иммунитет к этике и эстетике при длительных занятиях литературой. И происходит притяжение однородных явлений... А может быть, тут и другое (это особенно касается писателей): люди так черпают из себя, что остаются опустошенными до дна. Это я все думаю над Вашим письмом! А потом нельзя болтать. Чтобы почувствовать слово, надо много молчать.

27 июня я буду в Москве. У меня в Отделении литературы и языка будет доклад по текстологии. В один из последующих дней я постараюсь сбежать с заседания и приеду к Вам в Николину гору (позвоню сперва по телефону). Можно? Только предупреждаю: я совсем не такой, каким Вы представляете. Я воспитан в годы, когда люди мало общались друг с другом. Я не умею сближаться и с людьми чувствую себя неловко. Встречи с Вами я боюсь, боюсь за эти свои качества.

Будьте здоровы. С нетерпением буду ждать страшной встречи.

Искренне Ваш Д. Лихачев

11.VI.62

10.VII.62

Дорогой Николай Николаевич!

Не написал Вам сразу, так как дома застал жену в болезни: спазмы головных сосудов. Сейчас все прошло.

От Сосноры получил письмо. Он действительно поступает на философский факультет. Говорит (вернее, пишет), что собирался заниматься психологией и только потом выяснил, что психология на философском факультете вовсе не психология... Думает, что, сдав экзамены, перейдет на исторический заниматься древней Русью. Я его в письме выругал, что он решает вопросы, крайне для него важные, не посоветовавшись со знающими людьми, на историческом факультете древней Русью заниматься нельзя — нет хороших преподавателей.

Николина Гора, Ваш дом и сад меня совершенно очаровали. В райском уголке Вы живете. И природа русская, а не чухонская, как здесь. Какая дорога к Вам милая. Хоть я и редко бываю под Москвой, но сразу чувствую себя там как дома: родные места, пейзаж обжитой, и обжит он русскими тысячу лет. Шофер докатил меня очень быстро до гостиницы, и я успел побывать всюду, где полагалось.

А Вы очень милый — тоже родной. И моя обычная стеснительность при вас обоих с меня немного слетела.

Будьте оба здоровы, веселы, упрямы в работе.

О дороге, написав, что она милая, должен добавить: и слегка испорченная выкрашенными масляной краской медведями, оленями и козлятами. Где элементарный вкус?

Человек по природе своей должен быть интеллигентен и образован, обладать вкусом, знаниями и умом. С людьми неинтеллигентными я чувствую себя как в психиатрической лечебнице: это болезнь (невежество,

отсутствие вкуса, необразованность). Я и сам в этом смысле не совсем здоров, но я хоть осознаю это, а обычно футболисты думают, что именно они воплощение здоровья и «нормального», «здравого» смысла, правильно во всем разбираются и могут судить о поэзии и живописи, украшать дороги крашеными козлятами...

Привет Вашей супруге.

Всегда Ваш Д. Лихачев

Николина гора. 15 июля

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я очень был недоволен собой после нашей мимолетной с Вами встречи. Во-первых, я был в полном беспорядке по здоровью, небритости и неодетости, т. е. одетости во что попало, как бывает с больными стариками, перестающими заботиться о внешности. Но больше того — я остался недоволен тем, что ничего я не сумел рассказать о себе и оставил впечатление разболтанного в прямом и в переносном смысле человека. А ведь были задуманы разговоры и о языке, и о стихе, в которых (разговорах) я думал укрепить Ваше мнение обо мне, как о человеке по-настоящему ценящему и любящему слово. А вместо этого — рассказал два наигрыша частушки, слышанных случайно от своего шофера. Это — от застенчивости и неуверенности в своих силах. Я боялся говорить о языке, о словах, смысловых корнях, как например «гореть», «горе», «горький», «горячий», а рядом с ними — «гора», «горевать» и т. д. Ведь кореньто у них общий. Мало того — «гореть» ведь это — высоко реять, взвиваться вверх, а «го» в таких словах, как «гордый», «государь» (высокий судья); а гордый (высокородный) и т. д. Не значит ли, что существует свой смысловой строй в отдельных звуках, их соединениях.

Но это не приставки и надставки, а еще не обнаруженные зависимости звучания от смысла. Вот что я не сказал Вам, отчасти от волнения, отчасти от застенчивости. Но — «бумага все стерпит», и я высказываю еретически-филологические свои замечания. Во всяком случае, они мне очень помогают в выборе выразительных средств в стихе. Я рад, что Вам пришлись по душе подмосковные наши места; а медведей и оленей из цемента забудьте. Хуже, что у меня слова из цемента были при разговоре с Вами. Считайте встречу не состоявшейся, как было бы желательно, и по краткости и по недосказанности. В письме, оказывается, легче говорить, не ежась от опасения, что скажешь не то. И обязательно — не то скажешь! Не судите об мне по речам, а судите — по стихам, когда они удаются.

Искренне Вас ценящий и любящий Ник. Асеев

Дорогой Николай Николаевич!

Вы даже расстроили меня своим письмом. Значит, Вы подумали, что для меня основное костюм, мундир на человеке, его способность сразу овладевать положением и пр.? Я был убежден, что за нашим беглым разговором был подтекст.

Когда я читал лекции в университете, мне всегда легче было читать о том, чем я серьезно не занимался. А встречаться мне было всегда легче с теми, с кем у меня меньше было общего. А разговаривать о любимом мне было совсем трудно, даже с очень близкими товарищами. Легче всего сохранять с окружающими дистанцию шутки (как будто бы есть и близость, даже заговор, а вместе с тем шутка и не впускает собеседника в какие-то закрома души, но и на эту «артиллерийскую наводку» нужно время. Времени у нас не было).

Но я от встречи с Вами получил очень многое. Те-

перь я по-другому читаю Ваши стихи. Ваши стихи для меня обрели Вашу интонацию, я слышу Ваш голос, Вашу душевность. И портреты Ваши ожили. Ведь фотография схватывает в человеке одно мгновение. Не знаешь — опустятся ли дальше уголки рта или поднимутся в улыбке, не знаешь, в каком ритме человек живет. Ваше лицо, манера держаться, движения, манера говорить — все это очень соответствует Вашим стихам. Либо стихи Вас подчинили, либо Вы их очень подчинили себе. Все это для меня огромные открытия. И то, что я Вас увидел не за столом президиума,— очень меня радует.

Не наговорил ли я глупостей?

Ну, теперь немного о себе. Лето плохое, очень здесь холодное. Только сейчас цветет жасмин. Ветер с моря, сырой, с дождями. По утрам я хожу купаться и выхожу на берег в макинтоше, накинутом на голое тело, чтобы не одеваться под дождем. Финское небо, Финский залив, финский ветер, живем в старом финском доме, который скучает по своим хозяевам, а нас считает чужими. Остается читать корректуры, редактировать чужие работы, радоваться чужим успехам.

Почти не чужие — успехи Сосноры. Книжечка его хороша. Только бы не застыл в своей манере. Его книжечка — пока только фотография, запечатлевшая сотые доли секунды. Пока еще у него нет поэтической биографии; немного поэтому за него страшно.

Привет Вашей супруге. Всегда Ваш. Не перечитываю своего письма, а то не пошлю его.

Д. Лихачев

8.VIII.62

Николина Гора 12.VIII.62

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Простите меня за неуклюжее предыдущее письмо. Оно было написано под впечатлением своей неудачи, которую я подозревал в отношении Вас ко мне. Я был очень не в форме по здоровью и по настроению, и тут-то как раз удалось, наконец-то, увидеть Вас воочию. Ваш ответ на мои подозрения в моей неудаче пристыдил меня и еще раз показал, какую ценность имеет для меня знакомство с Вами. Да, на «наводку» нужно время в разговоре, а у нас его не было. Потому, может быть, у меня впечатление первое как от «по усам текло, а в рот не попало». Но Вы с Вашим настоящим человечным чувством поддержали во мне мое человечное чувство, и я не стыжусь ни костюма, ни своей небрежности при нашей встрече.

Жаль, что у Вас лето скользкое от дождей и бессолнечности. А жасмин все-таки цвел, хуже и с опозданием. Почему только «радоваться чужим успехам»? Разве у Вас своих мало? Вы первый знаток живой древней речи, и не только знаток — и истолкователь ее. Как же Вам не радоваться тому, чему радуются в Вас Ваши друзья? А я осмелюсь считать себя таким. Нет, к Вам это не пойдет: «Чужая даль вокруг». Даль у Вас родная во времени. Скажите мне, как Вы относитесь к Вандриесу и его мыслям о языке? Я подарил его книгу кому-то из поэтов и теперь очень жалею. У него замечательно о жизни языка, который мертвеет от заученных фраз и оживает от глубокодонных ключей, как река подо льдом. Книжка Сосноры не так хороша, как бы хотелось. Понапихали в нее «производственности» страха ради и отяжелили. Но 6—7 стихов — хороши.

Ваш Ник. Асеев

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Почему от Вас давно нет известий? Может быть, что-нибудь у Вас неприятное, отчего бывает не до переписки? Или я, может быть, как-то Вам не показался таким, как был сперва? А может быть и такое, когда нет охоты писать об уже сказанном и закрепленном в представлении. Как бы то ни было, но я обеспокоен Вашим молчанием. Соснора сообщил мне, что Вы поддерживаете издание его новой книги перед из-вом Советская Россия. Я со своей стороны написал директору из-ва о значительности такого издания, еще не пробившего скорлупу малоизвестности поэта. Сегодня напечатана моя статья о поэзии звучащей и молчащей. Правда, в органе не очень многотиражном, но все-таки претендующем на «Литературу и жизнь». Взяли стихи, не печатавшиеся много лет: о том, почему люди не любят своих неподкупных поэтов. И о проклятии войне.

К ним присоединил еще внове написанное: «Оправдали расстрелянных». Его могу прислать Вам, если захотите и найдете время свободное от собственных забот. Но все это в том случае, если Вы мне ответите хотя бы коротко, что у Вас у самого? Искренне и дружески к Вам расположенный.

Николай Асеев

Москва. 1962. 2 ноября

Дорогой по-настоящему, а не из вежливости
Дмитрий Сергеевич!

Я и рад, что получил от Вас весточку, и опечален Вашим несчастьем с дочерью. Я чувствовал, что у Вас что-то не добро, не ладно, и терялся в догадках. Так оно и есть: с близким человеком несчастье. Не буду

писать жалких сожалений и сочувствий. Они только растравляют горечь переживаемого. Я повторяю, что главной причиной Вашего замолкания я считал какое-то неприятное событие в Вашей жизни. И потому не «стыдить», как Вы пишете, хотел Вас, а, скорее, разрешить тревожное ощущение, какой-то беды с Вами. Теперь это оказалось подтвержденным, а лучше бы не оказывалось. Я живу в полжитья. На даче было неважно, а в городе еще неважнее, потому что неизвестно, в чем дело. Доктора надоели с их требованием постоянных анализов и исследований, а слабость с каждым днем и с каждой ночью дает себя знать все сильнее. Химию я отверг, потому что, помогая в одном, разрушающе действует в другом направлении. Легкие меньше дают о себе знать, зато сердце ни к черту: на десять ударов — два пропуска пульса. Совсем уже не выхожу из комнат, дышу при посредстве форточки, хорошо еще, что не кислородной подушки. Вообще-то говоря, мои предки наделили меня слабосильным, но выносливым телом; но личными усилиями я его полуразрушил, не считаясь с длительным процессом в легких, залечивая, а потом снова возобновляя по азартности и непоследовательности поведения. Однако 73. Это уже многовато, нечего жаловаться. Хотя только-только начал по-настоящему ощущать жизнь безо всякой выдумки о ней, зато думами (не «выдумками»). Единственное лекарство, оказывается, это — стихописание и статьеписание, чем я и занимаюсь неустанно. В «Литературе и жизни» были не стихи, а статья, которую Вам посылаю. А еще прилагаю «Памятку» [1], о которой Вы слышали (см. на обороте). Ну вот и все, что смогу сообщить вкратце. Обнимаю Вас душевно. Ваш искренне

Николай Асеев

1962. 9 ноября.

[1] Первый вариант стихотворения «Разгоняются тучи». *(Ред.)*

Дорогой Николай Николаевич!

Получил от Сосноры пачку его стихов. Понравилось. Есть свое!

Видите: Вашу просьбу выполняю, хоть и медленно. Молюсь за «Лад!» (и еще за Фаворского).

Ваш Д. Лихачев

25.1.63

1.II.63

Дорогой Николай Николаевич!

Получил Вашу книгу и сразу же прочел ее. Она — как глоток свежего воздуха среди той литературоведческой духоты, в которую я погружен по своим обязанностям.

Всегда поражаюсь, как точно Вы умеете сказать. «Грубя и самоотрекаясь» — о Маяковском. Это ведь весь Маяковский, если вдуматься. Повторять Вас не буду. Даже и то, что у Вас повторено из старой книги («Зачем и кому...»), все равно было хорошо прочесть. Спасибо. Отдохнул.

Прибытие Вашей книжки совпало с другой важной для меня новостью: рентген показал, что Вере лучше и язва у нее зарубцовывается. А было у нее положение очень тяжелое.

А я написал статью в «Вопросы литературы» о том, кому и зачем нужны памятники старой культуры, и о том, что культура не бывает старой. Читаете ли Вы «Вопросы литературы»? Они там не дают оттисков, и я на этот журнал не подписан,— поэтому не знаю, когда смогу выслать Вам эту статью. Выйдет она в номере третьем.

Зима у нас классическая, редкая. Иней необыкновенной величины. Бывает и солнце. Но видеть всю эту красоту у меня почти нет времени. Зачем и кому нужна эта суета? Как можно было бы хорошо жить без нее. И люди были бы добрее.

Привет и поклон Ксении Михайловне.

Всегда и во всем Ваш Д. Лихачев

Берегите себя.

8 февраля 1963

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Посылаю Вам свои последние стихи из написанных в прошлом, как в далеком, так и в близком. Первое 62 года, а два остальных — 1942 [1]. Двадцать лет пролежали, пока не дождались храброго редактора, рискнувшего напечатать эти стихи. Но и они мне теперь кажутся недостаточно сильными, у меня потерян вкус к стихам и чужим и своим. Это, наверное, от болезни, которая опять забрала меня в лапы. Что же сильно? — «Когда над смертными умолкнет шумный день»! Еще — «Однажды странствуя среди долины дикой, Внезапно был объят я скорбию великой...» Да еще и еще. Хотя бы Хлебниковское: «Годы, воды и народы — все уходит навсегда, как текучая вода. В зыбком зеркале природы — небо невод, рыбы — мы; боги — призраки из тьмы». Может быть, это от настроения, а может быть, от недостатка Пушкиных и Хлебниковых.

Скажите, пожалуйста, помните ли Вы книгу Жана

---

[1] Речь идет о стихотворениях, опубликованных в журнале «Москва», 1963, № 1 («Разгоняются тучи», «Проклятие войне», «Портреты»). *(Ред.)*

Вандриеса о языке? Там у него есть замечательное уподобление обновления языка — биению донных ключей со дна реки, без чего река бы замерзла до дна и прекратила свое существование. Точно так же и язык без обновления слов и понятий, становящихся стертыми медяками, мертвеет и постепенно становится языком прошлого. Мертвым языком. Его можно читать, но нельзя говорить. Об этом за двадцать лет до Вандриеса сказал Маяковский. Напишите мне что-нибудь.

13.II.63

Дорогой Николай Николаевич!

Большое спасибо Вам за чудные стихи и за письмо. Два крайних стихотворения — «Оправдали расстрелянных» (это название лучше, чем «Разгоняются тучи») и «Зачем вы не любите, люди» — захватывают своей темой, и я их отчетливо слышу в Вашем чтении (сразу вспомнил Ваш голос и увидел Вас — Вы мне их читали). Сама мысль, заложенная в них, поднимает ритм, рифмы, образы, слова, как волна поднимает спиной игрушечные кораблики.

А темы пушкинских и хлебниковских стихов, которые Вам сейчас нравятся, меня всегда очень волновали, особенно в юности. Смерть казалась мне такой же загадкой, как и жизнь. Преодолеть смерть — к этому стремятся все. Одни — глупо... другие — умно, путем самоотдачи, саморастворения в стихах, в творчестве.

Помню, года три тому назад меня поразило одно болгарское стихотворение. Приблизительно передам его тему.

В Люксембургском саду сторож звонит в колокольчик: детям пора уходить. Вечер. Но меня там нет.

В Неаполе вечер. Тихо. Клубится Везувий. Влюбленные целуются в лодке. Но меня там нет.

И еще вспоминает поэт несколько хороших мест, где его нет.

А заключается стихотворение так: когда же меня не будет ни там, ни тут — в Софии, это будет смерть!

Сперва это стихотворение поразило меня своей простотой, простором и мудростью отношения к смерти. Оно мне чрезвычайно понравилось. Теперь мне хочется с ним спорить. Подумайте, ведь если для него его родная София, его семья, близкие — все равно что Люксембургский сад с его сторожами,— значит, он уже умер, уже ко всему безразличен.

Мало ли где нас нет — нам нужно наше, нужны наши близкие, какие бы они ни были, а роскошный Люксембургский сад нам не нужен.

Мы все уйдем не из мира, в котором мы составляем миллиардную часть, а из своей семьи и даже... от своих вещей, из своей квартиры. Насколько выше Есенин, который именно об этом сказал, отказываясь от рая.

Вот разболтался и зря. Ну, что написано, то написано.

Приглашают во Францию в город Тур (в центре Франции). М. б. поеду туда, в этот Люксембургский сад, на две недели. Пусть я там буду.

И все-таки выше поэзии нет ничего.

Привет большой Ксении Михайловне.

Всегда Ваш Д. Лихачев

16.II.63

Дорогой, милый Николай Николаевич!

Пишу Вам экстренное, деловое письмо. В ближайшие дни в Москву на собственные скудные средства приедут два молодых патриота — наш ленинградский

поэт и ученый Вячеслав Андреевич Шошин и петрозаводский фольклорист доцент тамошнего университета Дмитрий Михайлович Балашов. Они приедут, чтобы собрать подписи под письмом о положении с памятниками русской культуры. Их сейчас на Севере начали уничтожать в массовом порядке. В Петрозаводске составили список на сожжение 116 церквей — в том числе и тех, которые находятся под охраной государства. Делается что-то страшное.

Пожалуйста, подпишитесь под этим воплем и уговорите кого можете из писателей поставить свои подписи. Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли заранее позвонить тем, кого Вы считаете достойными вступиться за русскую старину. Они не могут терять ни часа, так как средства их очень ограничены да и с работы они сбежали, чтобы спасти то, что могут. Вам они предварительно позвонят.

Если здоровье позволит Вам,— взгляните на них— какие они хорошие. Пусть они к Вам на минутку зайдут.

Я все боялся, что скоро некому будет и заступаться за памятники русской культуры. Нет, они дороги нашей молодежи. Нужны.

Привет Ксении Михайловне.

Всегда Ваш Д. Лихачев

18.III.63

Дорогой Николай Николаевич!

Не писал Вам Аридовы веки. После моего последнего письма к Вам у меня успели хирурги вынуть 2/3 желудка, часть двенадцатиперстной кишки и пр. А Соснора из хвалимых поэтов перешел в более зрелую стадию — поэтов критикуемых!

Сейчас я первый день дома. Заживление идет хорошо. Последнее, мрачное письмо Вам писал под влиянием уже начавшегося язвенного кровотечения. Я не знал о кровотечении, но на сознание недостаток крови действовал, отсюда мысли о смерти. Не сердитесь на меня за то письмо.

Будьте здоровы и счастливы. Все будет хорошо, и ход истории меня вполне удовлетворяет.

Привет Ксении Михайловне.

Искренне Ваш Д. Лихачев

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Как же это так случается! Еще в феврале Вы мне писали если не очень веселое, то все же ободряющее письмо, и вот уже Вас резали и мучили на хирургическом терзании. А я ничего не знал, хотя бы и ничем не мог помочь, кроме испытывания боли за Вас, дорогого мне человека. Теперь, когда это более или менее в отдаленном прошлом, хочется не сочувствовать, а проклинать человеческую природу, которая вопреки смыслу и выбору попадает в ловушки болезней. Сам я, давно уже попавший в их капкан, старательно перегрызаю ногу, чтобы хоть на одной уйти от барышни смерти еще на несколько сроков. Но к черту болезни и мучения.

Я очень теперь увлечен раскрытием тайны гоголевского «Вия». Источники его сюжета никак не сходятся с какими-то народными преданиями, о которых сам Гоголь упоминает, как о пересказанных им в повести. Исследователи и литературоведы ссылаются и на украинские и на русские сказки и предания о ведьмах и молодых юношах, подвергшихся воздействию их колдовства. Не забыты исследователями и немецкие романтики Тик, Гофман, бр. Гримм и т. д. Но указания, ка-

кие же именно сказки могут быть приведены к повести Гоголя, как ее предшественницы, никем не оговорено. Тем более не сходятся сличения сюжетов немецких романтиков с «Вием». Уж хотя бы потому, что самого-то «Вия» нигде в них не встречается. Гоголь называет его «начальником гномов», как бы намекая на его иностранное происхождение. Ведь о гномах на Украине не было слышно в те времена. Значит, и начальник их был измышлен самим Гоголем. Но не в этом дело. Даже если бы Гоголь и воспользовался деталями народной демонологической фантастики или созданиями немецкой романтики,— все равно сюжет «Вия» настолько разнится от всех напоминающих их мотивов, что его нельзя не считать целиком созданием самого Гоголя. Помимо всех изысканий, мной лично открыт гораздо более убедительный ключ сюжета «Вия». Он как-то странно не замечен исследователями творчества Гоголя, хотя сам просился в руки. Я говорю о переводе В. А. Жуковским баллады английского поэта Соути, перевод которой сделал Жуковский, совершенно ясно показывает знакомство Н. В. Гоголя с этой балладой. Правда, об этом глухо упоминается у одного исследователя, но на этом никто не остановил своего внимания. Мне же думается, что эта-то баллада и дала Гоголю основу для повести. И ни фольклорные мотивы, ни народные сказания не подходят так близко к описанию тройного бдения у гроба ведьмы, где даже сын ее — чернец не осмеливается молиться за преступную мать; сын чернец превращен в «философа» Хому Брута, старуха ведьма при жизни была, очевидно, красавицей, а троекратные ужасы от чтения в церкви над покойницей были, конечно, ужасами самого Гоголя перед колдовской красотой женского обличья. Да, не в «Вие» тут дело; он придуман Гоголем для отвлечения от основной темы — убийственности женской красоты для творчества, для развития духовных сил человека, если эта красота — внешняя

прелесть, внешнее очарование, покоряющее и делающее человека смолоду рабом страстей. Так было с Андрием Бульбой, изменившим товариществу, семье, родине из-за околдовавшей его еще смолоду красавицы. Так гибнет и Хома Брут, узнающий в мертвых чертах панночки ведьмовскую красоту убитой им ведьмы, которая отомстила за себя и после смерти.

Вот какую сказку рассказал я Вам, дорогой мой мученик! Возможно, что мои догадки и неосновательны, но очень напрашиваются живые примеры из недавнего прошлого. Это и жена Пушкина, и Айседора Дункан Есенина — боюсь, я прав, это же и влюбившая в себя смолоду «Л. Ю. Б.» молодого Маяковского. Женщина, если она не друг навеки, если она только внешнее очарование молодости, проходящая мимо объекта, погубленного ею, это — ведьма. Так думал Гоголь, я уверен в этом. А вот еще докука. В своем болезненном увлечении статейными высказываниями я осмелился изложить давно мне не дающие покоя мысли о некоторых истолкованиях текста «Слова о полку Игореве». Тут Вам и книги в руки. Посылаю Вам на суд свои домыслы, вернее, свои прочтения некоторых слов и выражений. Бейте, но милуйте. У кого же мне еще спросить совета в таком деле?

Кончаю затянувшееся письмо надеждой на ответ, хотя бы и сердитый, но правдивый. Обнимаю Вас сердечно.

Преданный Вам Ник. Асеев

Москва. Март, 22. 1963

Посылаю свои домыслы о «Слове» [1]. Если они ни в какую дверь не лезут, уничтожьте их. Для этого и по-

---

[1] Статья Н. Асеева «К «Слову о полку», написанная в апреле 1962 г.

сылаю, чтобы не иметь копии и не тужить о зря потраченном времени. Если же найдется что-нибудь путное — оставьте себе, как пример резвости воображения, не подкрепленного точными данными (Н. А.).

Дорогой Ник. Никол.!

А у меня снова «буря». В субботу снова свезли в больницу в очень плохом состоянии. Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Через неделю вернусь домой.

О «Вие» очень интересно!

Вашу превосходную статью о Слове о п. Иг. я не только хочу оставить у себя, но прошу Вашего разрешения опубликовать ее в журн. «Русская литература». Это неважно, что я кое с чем в ней не согласен. Важно, что статья мне нравится отношением к «Слову», подходом, языком.

Не согласен я с толкованием слова «вещий». Основное значение не вызывает сомнений: корень тот же, что и в слове «вещица», по-древнерусски — колдунья (см. Словарь Срезневского и в статье В. Л. Комнаровича «Культ Рода и Земли в княжеской среде XII в.» в «Трудах ОДРЛ, т.......). Олег Вещий — Олег Мудрый, Олег Волшебник (он первоначально считался родоначальником русских князей), а не Олег Вещающий — говорящий громко.

И Боян Вещий — очень хорошо именно в смысле Мудрый, Волшебный, обладающий даром пророчества. Ведь поэт по древним представлениям обладает даром прорицать, мудро предсказывать. «Пророк» Пушкина. «Пророками» были Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский. А разве Вы в себе не чувствуете дара прорицания? Вы тоже пророк. Вы обладаете не только даром пророка, но и властью пророка. Во многих Ваших статьях Вы говорите как пророк. Поэтому и молодежь находите.

Боян Мудрец, Боян пророк — это, я убежден, гораздо вернее.

Очень заинтересовала меня мысль о том, что «Слово» написано несколькими авторами. Это очень типично для древнерусской литературы. Однако не бывает в древней Руси, чтобы писали «содружеством». Писал сперва один; потом другой «улучшал» какой-нибудь список, дополнял его своим, не заботясь о единстве стиля, создавая «ансамбль» контрастирующих стилей. В содружестве не родилось бы первое лицо *ед.* числа об авторе («что *мне* слышится»). Вот понравилась мысль (никто ее еще не высказывал), что стиль Бояна меняется на другой «сообразно изменившимся условиям».

О «тяготении» интересно. Но ведь нет худого и в старом толковании. Шеломя — пограничный со степью курган, мимо которого проходил шлях в степь (у меня есть об этом в комментариях). Это конкретное географ. название. Шеломя есть еще в Ипатьевской летописи. Перейдя границу своей земли, естественно сказать, вернее, тяжело вздохнуть: «Вот уж родина позади — осталась за Карпатами... за Неманом!» Но и об этом я раньше не подумал,— сказать, что вся гигантская страна — за одним маленьким холмом или за одной пограничной станцией Чоп,— странно! Хотя и в шлеме можно оглянуться. Шли ведь оборачиваясь, а перейдя границу, оборачивались особенно часто, махали руками. В «Слове» все очень конкретно.

Ну вот, заболтался. Так можно передать «Русской литературе»? Они платят там гонорар, хотя журнал и бедный.

Не хворайте и Вы.

Вернусь домой не раньше, чем через неделю.

Искренне и всегда Ваш Д. Лихачев

27.III.63

СОДЕРЖАНИЕ

Составители
Ксения Михайловна Петровская
и Ольга Георгиевна Петровская

ВОСПОМИНАНИЯ
О НИКОЛАЕ АСЕЕВЕ

Сборник

М., «Советский писатель», 1980, 304 стр.
План выпуска 1980 г. № 14

Редактор *М. И. Самойлова*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *Т. С. Казовская*
Корректор *И. Ф. Сологуб*

ИБ № 2201

Сдано в набор 13.02.80. Подписано к печати 04.11.80. А 06205. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага мелованная. Журнальная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14. Уч.-изд. л. 13,24. Тираж 30 000 экз. Заказ № 354. Цена 1 р. 60 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109





1 р. 60 коп.